

Поль Бурже

Женское сердце



Поль Бурже

Женское сердце

«Public Domain»

Бурже П.

Женское сердце / П. Бурже — «Public Domain»,

«В безоблачный светлый мартовский день восемьдесят первого года, около трех часов дня, с одной из двадцати «самых хорошенек женщин» тогдашнего Парижа, как говорят газеты, графиней Кандаля, случилось крайне неприятное и опасное, но вместе с тем и обыкновенное происшествие. На повороте с авеню д'Антен к спуску Елисейских Полей лошадь испугалась, бросилась в сторону, упала и притом так неудачно, что карета ударилась о тротуар и левая оглобля сломалась. Графиня отделалась лишь сильным толчком и несколькими минутами нервного потрясения. Но все ее планы на этот день были разбиты; о количестве же их можно было судить по длинному списку, начертанному на белой грифельной дощечке, вделанной в кожаную рамку, находившуюся вместе с маленькими часиками и портфелем с визитными карточками внутри кареты...»

Содержание

Глава I	5
Глава II	13
Глава III	25
Глава IV	33
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Поль Бурже

Женское сердце

Глава I

Происшествие с каретой

В безоблачный светлый мартовский день восемьдесят первого года, около трех часов дня, с одной из двадцати «самых хорошеньких женщин» тогдашнего Парижа, как говорят газеты, графиней Кандаль, случилось крайне неприятное и опасное, но вместе с тем и обыкновенное происшествие. На повороте с авеню д'Антен к спуску Елисейских Полей лошадь испугалась, бросилась в сторону, упала и притом так неудачно, что карета ударилась о тротуар и левая оглобля сломалась. Графиня отделалась лишь сильным толчком и несколькими минутами нервного потрясения. Но все ее планы на этот день были разбиты; о количестве же их можно было судить по длинному списку, начертанному на белой грифельной доске, вделанной в кожаную рамку, находившуюся вместе с маленькими часиками и портфелем с визитными карточками внутри кареты. В то время, как молодая женщина выходила из кареты среди собравшейся вокруг нее толпы, ее хорошенькое тонкое личико с нежными чертами и тонким профилем, ясными голубыми глазами, освещенное горячим оттенком белокурых волос, выражало близкое к гневу недовольство.

Всеобщее любопытство, устремленное на нее, окончательно испортило ее настроение; вопреки своему всегдашнему справедливому и даже снисходительному отношению к прислуге, она сурово сказала лакею:

– Франц, как только лошадь встанет, ступайте в клуб Королевской улицы, и пусть этот разиня Аманд справляется сам, как знает. Через полчаса карета должна меня ждать у госпожи Тильер.

И, несмотря на свою слишком тонкую для ходьбы обувь, она направилась к улице Матиньон, где жила ее подруга, имя которой она только что бросила бедному Францу. Последний, здоровый малый, совершенно переконфуженный и бледный от испуга, с трудом поворачиваясь в своей длинной темной ливрее, не успел ответить: «Слушаюсь, графиня», как товарищ его, сойдя с козел, весь красный от стыда, разворчался на него за неповоротливость, за то, что он не умеет помочь ему. Но графиня Кандаль, пройдя сквозь толпу любопытных, всецело погрузилась в мысли о том, что все ее планы на этот день расстроились.

– Разиня! – повторяла она. – Ведь надо же этому случиться именно в тот день, когда я так спешу... Лишь бы еще Жюльетта была дома... Если ее нет, тем хуже, я подожду у ее матери... а мне бы необходимо ее застать... Вот уже скоро неделя, как мы не видались. В Париже ни на что не хватает времени...

Рассуждая так про себя, она шла, высоко держа свою маленькую головку; на ней была очаровательная лиловая шляпа и серое, отделанное перьями того же оттенка пальто, плотно облегавшее ее гибкую талию. Она шла, чувствуя на себе взгляд прохожих, – взгляд, в котором молодая женщина читает победу, а старая – разрушение своей красоты. При встрече с женщиной, обладающей подобно Габриелле Кандаль той внешностью «дамы большого света», которой и в наши дни невозможно подражать, проходящий мимо нее мужчина разыгрывает целую комедию. Он проходит мимо и точно ее не замечает. Но понаблюдайте за ним; стоит ей отойти шага на два – и тут вы увидите, каким быстрым движением он обернется раз, другой и третий, чтобы проводить ее глазами. Пусть физиологи объяснят эту тайну: чтобы удостовериться в произведенном впечатлении, ей не нужно оборачиваться. А теперь пусть моралисты объяснят

другую тайну: она чувствует себя польщенной этим впечатлением независимо от того, каков прохожий; будь он горбатым, косым или одноруким, она все равно будет польщена, даже, если она, как графиня Кандаль, носит одно из самых прекрасных исторических имен Франции!..

Без сомнения, графиня не слыла в своем кругу кокеткой. Она только что избежала серьезной опасности: ей предстояло лишиться на некоторое время своей новой кареты – английской кареты, глубокой, с узкими окнами, сделанной в Лондоне по специальному заказу; и пользовалась-то ею она всего лишь два месяца!

И лошадь, конечно, испорчена; а это – лучшая лошадь из ее конюшни. Казалось бы, всего этого было слишком достаточно, чтобы войти в дом на улице Матиньон в самом плохом настроении духа. Но несмотря на все, когда затянутая в перчатку рука ее опустилась на старые тяжелые ворота, сдвинутые брови золотистого цвета на лице прелестной «Святой», – как называла ее подруга, к которой она входила, – не выражали уже прежнего гнева. В течение пятиминутной ходьбы она вкусила удовольствие сознания своей красоты под взглядами нескольких анонимных поклонников.

Чем меньше «Святые» позволяют себе быть женщинами, тем с большим наслаждением они вкушают это чисто женское удовольствие. В то время как пересекая двор, она приближалась к маленькому, защищенному стеклянными рамами крыльцу, находившемуся в глубине налево, лицо ее принимало слегка задорное выражение – признак хорошего расположения духа. Впрочем, это веселое настроение могло быть также вызвано ответом дворника, который сказал ей, что госпожа Тильер не выходила.

Возможность сейчас же рассказывать о перипетиях приключения, хотя бы вполне невинного, заставляет радоваться самому приключению, и, нажимая кнопку звонка, графиня улыбалась при мысли, что подруга ее испугается за нее больше, чем она сама...

Хотя, после событий, прологом к которым послужил этот неожиданный визит, прошло девять лет, но много ли в Париже и особенно в обществе, где вращалась графиня де Кандаль, таких лиц, которые помнят прелестную и таинственную женщину, которую графиня и в глубине души своей, и в разговоре с другими называла просто «мой друг»? Для смысла этой истории не будет излишним начертать несколькими штрихами облик теперь уже исчезнувшей подруги госпожи Кандаль, которая уже в ту пору была почти неизвестной даже для друзей своего друга. Но что же? Госпожа Тильер была одной из тех светских женщин, которые живут рядом со светом скромно и сдержанно, оставаясь для него незаметными, и прилагают столько же дипломатии, чтобы ступешаться, сколько их соперницы ради того, чтобы блистать и властвовать. Кстати, самый выбор этого простого и скромного жилища с узким крыльцом, на котором в эту минуту вырисовывался аристократический силуэт Габриеллы, не служил ли символом ее характера? От этого дома, отделенного от главного корпуса двором, окруженного со стороны улицы Цирка садами, веяло уединением и одиночеством. И эта самая улица Матиньон, окаймленная с одной стороны длинной оградой с ее старыми, не изменившимися с прошлого века домами, – улица, которую объезжают стороной господские экипажи, предпочитая возвращаться с Елисейских Полей в предместье Сен-Оноре через авеню д'Антен, – не являлась ли в иные часы парадоксом провинциальной тишины в этом шумном современном квартале? Даже маленькая лесенка, изолированная в своем стеклянном убежище, имела оригинальную физиономию. Пять ступенек, обтянутых выцветшим ковром, вели к двери, верх которой был также стеклянным, чтобы свет проникал в переднюю; изнутри же она была затянута красной драпировкой. Это не был обыкновенный павильон: дом был четырехэтажный; нельзя было его также назвать и отелем в буквальном смысле слова, так как госпожа Тильер и мать ее госпожа Нансэ занимали лишь первый и второй этажи. Тем не менее они чувствовали себя вполне хозяйками этого жилища, особенно благодаря внутренней лестнице, соединявшей их квартиры и устранявшей необходимость пользования общей лестницей, правый вход которой был защищен одинаковой стеклянной рамой. Не будем преувеличивать значения всех этих мелочей; но подобно

тому, как выставление напоказ роскоши предполагает некоторое тщеславие, – предпочтение, отданное этому несколько меланхолическому жилищу на довольно отдаленной улице, служило показателем известной душевной замкнутости, как бы страха перед светским успехом. Если бы госпожа Тильер не приложила всех стараний к защите своей интимной жизни, смогла ли бы она решить невероятно трудную задачу, а именно: оставшись в двадцать лет вдовой, будучи свободной, богатой и очаровательной, прожить десять лет в Париже, не заставив почти произнести своего имени?

Итак, вполне естественно, что равнодушные уже забыли эту женщину, столь не похожую на современных модниц. Но зато некоторые из ее, – о, конечно, немногочисленных! – друзей интересовались ею с фанатизмом, который с годами нисколько не остывал. На вопросы любопытных, удивлявшихся тому, что такая хорошенькая женщина хоронит свои молодые годы в плену, друзья ее неизменно отвечали: «Она столько страдала». И в тоне их слышалось, что тема эта слишком щекотлива, чтобы о ней можно было говорить. Трагедия, сделавшая Жюльетту вдовой, оправдывала такую характеристику. Ее муж маркиз Рожер де Тильер, один из самых блестящих военных, капитан генерального штаба, был убит в июле 1870 г. рядом с генералом Дуэ одним из первых выстрелов этой ужасной кампании. Новость эта, объявленная маркизе на седьмом месяце беременности без всяких предосторожностей, вызвала страшный нервный припадок, после чего она очнулась матерью недоношенного ребенка, который не прожил и трех недель. Этого достаточно, не правда ли, чтобы чувствовать себя разбитой на всю жизнь. Но как бы ужасны или страшны ни были обстоятельства нашей жизни, они ничего в нас не создают. Самое большее, если они усиливают или ослабляют наши врожденные наклонности. Госпожа Тильер всегда оставалась бы личностью неяркой, домоседкой, склонной к отшельничеству, даже если бы она была вполне счастливой и довольной жизнью.

Под искренним и безыскусственным стремлением держаться в стороне всегда скрывается болезненная утонченность чувства, особенно у таких красивых, родовитых, богатых, а следовательно, и быстро уносимых вихрем жизни женщин, как Жюльетта, – она и мать имели сто двадцать тысяч франков годового дохода. С первых же шагов такие женщины должны чувствовать, сколько лжи, банальности и скрытой грубости заключает в себе светская жизнь. Сразу их инстинкт оскорблен, и они уходят внутрь самих себя. Они реагируют на свет тем, что начинают размышлять; в них развивается утонченность чувства; у них – истинно артистическое умение уйти в интимную жизнь. Они чувствуют потребность, чтобы все в их существовании, начиная с обстановки, туалетов и кончая дружбой и любовью, было исключительным, редкостным, особенным и индивидуальным. Они стараются избавиться от моды, а если подчиняются ей, то переделывают ее по-своему. Они много живут у себя и так устраиваются, что быть принятым у них считается большой милостью. Как они этого достигают? Это их тайна. Их приходится долго просить, чтобы зазвать к себе; этим путем они достигают того, что присутствие их в каком-нибудь салоне так же считается с их стороны милостью. Но такие милые маневры для них не безопасны, во-первых, потому, что грозят придать слишком большое значение их особе, а, во-вторых, они искусственно развивают в их душе болезненность и сложность. Но в общении с такими женщинами есть какая-то необыкновенная прелесть. Ведь общение это предполагает выбор, лестный для самолюбия друзей. В него входит множество знаков внимания, много постоянного баловства. Такие женщины привыкли детально изучать характер всех, кто к ним приближается, и их житейский такт избавляет вас от малейших обид.

Для тех, кто жил в их интимной сфере, они становятся необходимыми и незаменимыми. Исчезая, они оставляют по себе столь же глубокие, сколь и немногочисленные воспоминания; такова была судьба Жюльетты. Даже и теперь при встрече с некоторыми верными посетителями маленького салона улицы Матиньон – художником Феликсом Миро, генералом Жардом, бывшим дипломатом д'Авансоном, бывшим префектом Людовиком Аккранем – попробуйте,

ради опыта, рассказать какой-нибудь анекдот, могущий дать пищу пересудам, и разговор не обойдется без таких ответов с их стороны:

– Если бы вы знали госпожу Тильер...

Или:

– Таких людей вы наверняка не встретили бы у госпожи Тильер...

Или:

– Я знал только одну госпожу Тильер, которая...

Но не настаивайте. Иначе лица их примут выражение авгуров, и они вернутся к обычной теме своих разговоров: Миро – к своей последней картине «Цветы»; Жард – к новому проекту вооружения; д'Авансон – к своей тайной миссии в Италии после Садовы; Людовик д'Аккрань – к своему делу о ночлежничестве, деятельным агентом которого он состоит. И вам кажется, что в школе своего бывшего друга они вполне усвоили ту деликатность, которой такие женщины требуют от своих поклонников. Впрочем, были ли они способны – художник своим конкретным, слишком картинным языком, генерал своим техническим словом, дипломат необычайной любезностью своих формул, а бывший чиновник административной холодностью своих фраз – передать столь неуловимое явление, как обаяние, которым госпожа Тильер обладала в исключительной степени? Обаяние! Только женщина, сильно любившая другую женщину, – это бывает, – способна в тайном признании вдохнуть жизнь в то волшебное, таинственное и пленительное «нечто», которое обозначается словом «обаяние» – словом, которое само по себе не поддается определению. Для того, чтобы представить себе госпожу де Тильер во всей ее невинной и зачаровывающей прелести, следовало обращаться к графине Кандаль, если только она соглашалась говорить – чего почти не бывало, так как бедная «Святая» боялась воспоминаний о ней, как упрека. Нам так трудно, когда упреки совести заставляют трепетать фибры нашего сердца, не считать себя причиной того несчастья, к которому мы случайно подали повод; и сколько раз чуткая графиня мысленно переносилась к той минуте, когда в светлый мартовский день она позвонила у двери «своего друга», и каждый раз при этом думала: «А что, если бы в этот день нам не пришлось говорить друг с другом? Если бы я не поехала на улицу Матиньон?» Называть ли случайностью или судьбой ту постоянную и неожиданную игру событий, от которой иногда счастье или несчастье какого-нибудь существа зависит от падения лошади на мостовой, неловкости кучера, сломавшейся оглобли, следствием чего было посещение графини?

Случай, судьба или провидение? Кто знает! Но ни эти вопросы, ни какое-либо другое мучительное предчувствие не роились в хорошенькой белокурой головке графини Кандаль, когда лакей, проведя ее через большую гостиную, ввел в другую, маленькую, где, как всегда, сидела Жюльетта. Она писала, сидя за узким письменным столиком, защищенным низкими ширмами и стоявшим в углу между окном и дверью, – так что, поднимая глаза, она видела сад. В этот голубой, безоблачный весенний день на еще черных ветвях деревьев начинали появляться лиловые почки. Зеленый газон редкими и короткими былинками пронизывал темную землю, а так как простая, покрытая плющом стена отделяла маленький садик от двух больших садов, простиравшихся до самой улицы Цирка, то хорошенькое личико ее рельефно выделялось на их безлиственном фоне. Увидев госпожу Кандаль, она удивленно-радостно вскрикнула и встала, чтобы обнять ее.

– Видишь, я одета и жду карету, – сказала она. – Я собиралась поехать к тебе, узнать о твоём здоровье...

– И ты бы меня не застала, – ответила графиня, – и никто не рассказал бы тебе, что ты могла никогда не увидеть меня такой, какой видишь сейчас.

– Какое безумие!

– Я только что избежала очень серьезной опасности.

– Ты меня пугаешь...

И Габриелла начала свой рассказ – слегка преувеличенный, как все женские рассказы, – о приключении с каретой. Жюльетта же изредка прерывала ее речь легкими восклицаниями. Комната, где находились подруги, была мягким и теплым гнездышком, самым подходящим для душевных бесед двух близких друзей; весь день она нагревалась горячим мартовским солнцем, а теперь тепло исходило от камина, в котором медленно горели длинные, широкие полена. Напрасно вы стали бы искать в этой комнате груды пестрых материй и безделушек, без коих не могут обойтись современные парижанки. Обладая остроумной аристократической фантазией, госпожа Тильер просто перенесла в свое жилище обстановку одного из будуаров замка Нансэ, так что все, до мельчайших подробностей в этой маленькой гостиной, было во вкусе времен Людовика XVI, – эпохи, в которую один из предков госпожи Тильер, Карл де Нансэ, покровитель Ривароля, реставрировал свой замок. Белый тон этой прелестной тонко сработанной мебели и голубой оттенок поблекшей материи гармонировали с висевшими в золотых рамах старинными портретами. Подсказал ли внутренний голос Жюльетты, что именно эта обстановка прошлого столетия наиболее подходила к ее своеобразной красоте? Без сомнения, с легкой дымкой пудры на белокурых волосах, пепельно-белокурых, отличавшихся от золотисто-белокурых волос Габриеллы, мушками в уголке тонкого рта, румянами на розоватых щеках, высокими туфлями на маленьких ножках и в охватывающем: ее гибкую талию платье Марии Антуанетты она казалась бы современницей знаменитой маркизы Лоры де Нансэ, портрет которой стоял на камине рядом с портретом маркиза Карла. И даже без мушек, пудры, румян и туфель она поражала вызывавшим даже некоторое беспокойство сходством со своей прабабушкой, так недостойно вознагражденной за свою романическую страсть – во времена далеко не романические – ужасной страницей из воспоминаний Тилли. У Жюльетты, так же как и у ее красивой прабабушки, грациозная детская внешность, напоминавшая хрупкую статуэтку из саксонского фарфора, уравновешивалась глубоким выражением взгляда и грустным отпечатком улыбки. Еще одна подробность в лице госпожи Тильер преображала в мечтательное очарование хорошенькую миловидность XVIII века. В те минуты, когда она волновалась, не желая этого показывать, внезапно зрачки ее так расширялись, что прекрасные нежные темно-голубые глаза казались совершенно черными; в них ощущалась болезненная нервность, сдерживаемая очень сильной волей. Это лицо, заключавшее в себе столько благородства, родовитости и сдержанной страсти, являлось странным контрастом с таким же тонко-аристократическим, утонченным вековой наследственностью, но энергичным и деятельным лицом графини Кандаль. Живя под гипнозом своего культа к грозному маршалу де Кандаль, другу Монлюка, соперничавшего с ним в жестокости, графиня в пору религиозных войн была бы одной из тех воинственных женщин, о жестокостях которых рассказывает Эстуаль, а в пору, более близкую к нам, – шуанкой, одной из тех амазонок Вандеи, которые участвовали в перестрелках на дорогах с такою же храбростью, как самые бесстрашные из их товарищей. Олицетворенная мягкость и нежность маркизы Тильер напоминала тех героинь любовной жизни, тип которых история воплотила в трогательных образах Лавальер или Аиссэ. Одна была как бы портретом кисти Ван-Дейка, сошедшим с полотна в силу атавизма, а другая – старинной пастелью, одухотворенной таинственным вдохновением. Но если внешним аналогиям соответствовала аналогия внутренняя и если действительно в душе одной трепетали струны скрытого героизма, а в душе другой таилась бездонная страсть, то самому тонкому наблюдателю не удалось бы этого открыть, прислушиваясь к разговору, происходившему в углу, на диване. Окончив рассказ о своем приключении, одетый Бортом портрет кисти Ван-Дейка и наряженная в платье от Дусе старинная пастель начали рассказывать друг другу о том, как провели они последнюю неделю; и разговор этот был ничем иным, как простой болтовней двух подруг, говоривших по очереди то о тряпках, то о визитах, то о вечерах, – болтовней, – это противное слово вполне верно характеризует милое щебетание насмешливых птичек, – кончавшейся неизбежной в таких случаях фразой, произнесенной графиней:

– Итак, когда же ты приедешь ко мне обедать и хорошенько поговорить? Хочешь завтра?
– Завтра? Нет, – ответила госпожа Тильер, – у меня обедает моя кузина Нансэ. Так не хочешь ли послезавтра в четверг?

– В четверг? Четверг? В этот день я занята; я обедаю у своей сестры д'Арколь. Тогда не хочешь ли в пятницу?

– Да это скачка! – сказала, смеясь, Жюльетта. – Я обедаю у д'Авансон. Представь себе, мне придется мирить своего поклонника с его женой. Но госпожа д'Авансон ложится очень рано, а это как раз день твоего абонемена в Опере, и если у тебя никого не будет...

– Никого... Вот это великолепно! Не бери своей кареты; к девяти часам я сама заеду за тобой к д'Авансон... Но до пятницы еще очень, очень далеко. Да, вот мысль! Не приедешь ли ты ко мне просто сегодня вечером?

– Нет, – ответила госпожа Тильер, – взгляни на мой стол, я кончала это письмо в ту минуту, когда ты вошла... Я писала Миро; он уже очень давно просит меня назначить ему день, и так как сегодня я дома вдвоем с моей матерью...

– Не посылай письма, вот и все, – возразила графиня, – и ты сделаешь мне большое одолжение... Этот обед меня немного тяготит... Вся охотничья орава из Пон-сюр-Йоны. Ты знаешь этих охотников: Прони, д'Артель, Мозе... и, наконец, – нерешительно сказала она, – может быть, только с последним из них ты не пожелаешь познакомиться, – с ним... Ведь ты такая, как говорят англичане, «патикиюлэ»...

– А французы – неприступная или несносная, – смеясь, прервала ее Жюльетта. – И все это потому, что я не хочу бывать у тебя, когда у тебя творится столпотворение... А кто это таинственное лицо, с которым я должна запретить тебе меня знакомить?..

– О, совсем не таинственное! – возразила Габриелла.

– Это Раймонд Казаль.

– Тот самый... госпожи Корсьё? – спросила Жюльетта и, получив утвердительный ответ, лукаво продолжала:

– Дело в том, что строгий Пуаян отнесется к этому неодобрительно, и я неизбежно услышу фразу: «Зачем госпожа Кандаль принимает таких людей?»

Вероятно, графиня мало симпатизировала другу, над неявной бдительностью которого весело подсмеивалась Жюльетта, так как насмешка эта вызвала у нее недобрую радость, на миг блеснувшую в ее глазах. Словно ободрившись, она продолжала:

– Во-первых, ты скажешь ему, что это друг моего мужа гораздо больше, чем мой. И, во-вторых, могу ли я говорить с тобой откровенно? Казаль, не правда ли, для тебя и для Пуаяна и для кого бы то ни было, – шалопай, бывающий у женщин только для того, чтобы губить их, фат, скомпрометировавший госпожу Гакевиль, д'Эторель, Корсьё, тысячу и трех других, игрок, который ведет в клубе нелепую игру, огрубевший тип, который встает из-за игорного стола только для того, чтобы садиться на лошадь, фехтовать или охотиться и вечером надринькаться как лорд? Таков только твой Казаль и Казаль твоего Пуаяна...

– Мой Казаль! – прервала ее Жюльетта. – Да я его совсем не знаю; да и Пуаян – совсем не «мой»; я не желаю брать на себя ответственность за антипатии моих друзей, будь же справедлива?..

– Конечно, конечно, твой Пуаян, – настаивала графиня. Что если бы он просто овдовел, а не разъехался со своей женой, что если бы эта самая негодная жена сделала ему приятный сюрприз и умерла во Флоренции, где она ведет такую жизнь?..

– Что же? Кончай, – сказала Жюльетта.

– Мне всегда казалось, что ты способна выйти за него замуж; что же касается до него – я готова держать пари: он думает об этом и охраняет тебя, как невесту.

– Во-первых, не думаю, чтобы у него были такие злодейские замыслы, – громко смеясь, сказала Жюльетта, – а во-вторых, не знаю, что бы я ответила, если бы представился такой слу-

чай... Наконец, почти тридцатилетняя невеста может не бояться чар фатоватого прожигателя жизни, ярого игрока, отчасти жокея, довольно хорошо владеющего оружием, и горького пьяницы, – вот верный, хотя и не лестный портрет твоего гостя...

– Ты прервала меня как раз в тот момент, когда я хотела сказать, что этот легендарный Казаль так же мало похож на настоящего, как изображенный в «Жатве» Наполеон III не похож на нашего бедного императора... Казалья считают фатом? Но виноват ли он в том, что жизнь столкнула его с тремя или четырьмя сумасшедшими, которые афишировали свою связь с ним. Смейся сколько тебе угодно. Да, они его афишировали! Полина Корсьё дошла до того, что ее невозможно было принимать. А после разрыва кто стал сплетничать направо и налево? Он или она? Я знаю только одно – я, которая дорожу своей репутацией честной женщины, – что никогда, слышишь ли, никогда, он не сказал мне чего-нибудь такого, что не должен был говорить. Он умен, интересен и полон воспоминаний о своих путешествиях. Он изъездил весь свет: Восток, Индию, Китай, Японию. Прожигатель жизни? Игрок? Он был только немного богаче всех этих господ, а потому имел больше лошадей и проигрывал более крупные куши. Есть чем возмущаться! Возможно, что у него есть страсть к фехтованию, но он о ней не говорит, и я никогда не слышала, чтобы он злоупотреблял своим умением владеть шпагой. Возможно также, что он пьет, но, приходя ко мне, он всегда владел собой в совершенстве... Знаешь ли, что он такое? Балованный ребенок, которому жизнь всегда давалась слишком легко, но который сохранил в себе много хороших качеств. И при этом красив! Но ты его видела?..

– Да, кажется, мне его раз показывали в Опере, – сказала Жюльетта. – Он высокий, с черными волосами и белокурой бородой.

– Так это было давно, – возразила Габриелла, – теперь он носит только усы. Какая странная вещь – жизнь в Париже! Вы, вероятно, встречались сотни раз.

– Я так мало выезжаю, – сказала Жюльетта, – да и к тому же по рассеянности никогда никого не узнаю.

– Но выйдешь ли ты, наконец, сегодня вечером, чтобы посмотреть прекрасного Казалья, да или нет?

– Да, но как ты о нем говоришь! Как ты себя взвинчиваешь! Если бы я тебя не знала...

– Ты сказала бы, что я в него влюблена? Не правда ли? Что же делать? Ведь в моих жилах течет боевая кровь и отвращение к светской несправедливости... Но смотри, не выдай меня Пуаяну!

– Ах, опять Пуаян! – воскликнула Жюльетта, пожимая своими тонкими плечами.

– Конечно, – продолжала графиня, встряхнув головой. – Когда его нет, все идет прекрасно. А потом он поговорит с тобой, и я всегда замечала, как действует на тебя каждое его слово... Но кто-то входит... На этот раз карета готова...

Когда лакей объявил, что карета подана, началось прощальное щебетание и посыпались возгласы: «уже», «да ведь ты только что приехала», «до вечера, моя милая», потом поцелуи, смех при вновь произнесенном имени Казалья, после чего, с отъездом госпожи де Кандаль, наступила тишина, еле нарушаемая тиканьем часов и треском топившегося камина. Оставшись одна, Жюльетта села за письменный стол и, разорвав записку, предназначенную для Миро, вынула из шкатулки голубую депешу для того, чтобы начать другую, что оказалось гораздо труднее, так как она долго сидела, вертя своими тонкими пальцами ручку и устремив взор на сад, который теперь, под нахмурившимся небом, казался меланхоличнее. И вот строки, которые она, наконец, решилась написать:

«Мой друг, не приходите сегодня раньше одиннадцати часов вечера. У меня только что была Габриелла, с которой мы не видались уже десять дней, и мне пришлось согласиться на ее приглашение отобедать у нее сегодня. Уехать от нее тотчас после обеда – значило бы поступить с нею не по-дружески. А потому прошу вас на меня не сердиться, если я на два часа отложу наше свидание, когда вы расскажете мне о том, что произошло сегодня в палате, и о том, как

вы говорили. Не являйтесь ко мне с разочарованными глазами, в которых я читаю упрек по адресу того, что вы ошибочно называете моей светскостью. Вы слишком хорошо знаете, что представляет собой для меня свет без вас, без тебя, и как бы я хотела иметь право объявить всем, что значишь ты для твоего друга Жюльетты». Запечатав депешу, она написала на оставленном для адреса месте имя известного в ту эпоху оратора из правых, игравшего в Версале ту же роль, которую теперь с большим благородством выполняет де Мэн. И это имя было: граф Генрих Пуаян – вот доказательство того, что даже самые близкие подруги лишь наполовину посвящают друг друга в свои тайны. Если графиня, как мы видели, и подозревала о чувствах Пуаяна к Жюльетте, то, во всяком случае, – она была очень далека от мысли, что чувства эти взаимны и что любовная связь соединяла эти два существа.

Очень честные женщины, – Габриелла была такой, хотя и слишком много об этом говорила, – часто отличаются такой наивностью, которая доказывает их безграничную прямоту. А сколько еще вещей читалось между строками этой хорошенькой синей бумажки! Если бы Жюльетта искренне перечла ее вместо того, чтобы сейчас же запечатать, она отдала бы себе отчет в том, что нежность этих кокетливых фраз, внезапное «ты» и ласковое окончание письма служили прикрытием, а, может быть, и вознаграждением... За что? За вероломство? Нет. Но все-таки за ними скрывалась маленькая измена. Всякий поступок будет изменой, если возлюбленная заранее знает, что, совершая его, она огорчит своего друга. И разве Пуаян, который в этот день должен был говорить на важном заседании палаты, не почувствовал бы себя оскорбленным, узнав, что Жюльетта, имея возможность видеть его с восьми часов и пропустив заседание палаты под каким-то легкомысленным предлогом, сверх того еще отсрочила свидание с ним для того, чтобы обедать с человеком, которого он не любил? Она не сказала Габриелле, что несколько раз, когда разговор заходил о госпоже де Корсьё, мужа которой де Пуаян знал, он отзывался о Казале весьма резко. Перечитав еще раз эту прелестную записку, может быть, хорошенькая вдова и задала бы себе вопрос, почему, – связав навсегда свою жизнь тайным обещанием выйти замуж за Пуаяна, – слушая Габриеллу, она испытывала какое-то странное любопытство к этому Казалю, столь антипатичному своему будущему мужу. И, может быть, если бы она была вполне правдива с собой, то осознала бы, что в ее чувство к де Пуаяну начало вкрадываться утомление, а переход от легкого утомления к большой скуке совершается так же быстро, как переход от малого любопытства к большому кокетству... Но можем ли мы распутать моток тысячи ниток, которые сплетаются в наших мыслях и которые скрываются фразами писем к лицам, близким нашему сердцу? Мы так же мало отдаем себе отчет в тайном смысле наших любовных писем, как и в тех трагических событиях, к которым мы бываем причастны.

И когда спустя полчаса Жюльетта приказала кучеру остановиться перед почтой, чтобы самой опустить в ящик свою депешу, она ничуть не подозревала значения своей тонкой и нежной прозы, так же как и графиня де Кандаль не подозревала, какое роковое влияние будет иметь ее импровизированное приглашение на жизнь ее самого близкого друга.

Глава II

Незнакомец

Госпожа Тильер имела привычку одеваться заранее в те дни, когда она была кем-нибудь приглашена, чтобы по крайней мере присутствовать при обеде своей матери.

Прожив тридцать лет в провинции, госпожа Нансэ сохранила привычку аккуратно садиться за стол в ту минуту, когда часы били без четверти семь. Небольшая столовая, где едва могло поместиться человек десять, находилась во втором этаже и принадлежала им обоим. Эта мать, обожавшая свою дочь ради нее самой, а не ради себя, – чувство, так же редко встречающееся у матери, как и у дочерей, – старалась устроиться так, чтобы жизни их скрещивались, но не сливались. У нее был свой этаж, своя гостиная, своя прислуга и независимое распределение дня; зимой, как и летом, она вставала в шесть часов утра для того, чтобы бывать у обедни в соседнем монастыре, ложилась в девять и никогда не спускалась в первый этаж. Ей хотелось, чтобы Жюльетта одновременно имела в ее лице заступницу и пользовалась такой же полной свободой, как если бы жила одна. В избытке самоотвержения она даже упрекала себя за то, что позволяет себя баловать госпожей Тильер каждый раз, когда эта последняя собиралась выезжать в свет.

Но она все-таки позволяла себя побаловать, понимая, что в противном случае и без того мало выезжавшая Жюльетта навсегда откажется от выездов. Кроме того, для нее было большим наслаждением первой полюбоваться нарядом дочери. Обе они переживали там иногда минуты, полные интимной нежности. В таких случаях редко допускалось к ним третье лицо. В первое время, когда Пуаян начал ухаживать за Жюльеттой, он постоянно придумывал разные предлоги, чтобы полюбоваться этим зрелищем, ласкавшим его взор: в столовой, где царила полная тишина и горели две большие лампы стиля ампир, стоявшая на коленях, молодая, разодетая женщина прислуживала своей старой матери, всегда одетой в траурное платье. Но с тех пор как отношения его с Жюльеттой изменились, он испытывал некоторое смущение, чувствуя на себе взгляд госпожи Нансэ. Человек этот, общественный деятель, известный своим хладнокровием, которое не оставляло его даже среди партийных врагов, мучился в присутствии этой почтенной особы теми тоскливыми опасениями, которые порождает в прямой, честной душе преступная тайна. Он боялся этих чистых, голубых, умных глаз, – глаз старой полуглухой женщины; это было все, что осталось молодого на бледном увядшем лице. Несмотря на то, что госпоже де Нансэ только что исполнилось шестьдесят лет, ей можно было дать семьдесят – так сильно ее собственное горе и горе дочери подточили в ней жизненные силы. За год до вдовства Жюльетты она потеряла мужа и двух сыновей. Эта скорбная мать, очевидно, мысленно постоянно пребывавшая со своими дорогими покойниками, радостно оживала в присутствии своего последнего детища Жюльетты, видя ее разодетой, веселой и ласковой, как в эти полчаса перед обедом госпожи Кандаль. В этот вечер на Жюльетте было черное кружевное платье на розовом муаровом чехле с бантами того же цвета. В пепельных волосах и тонких ушах блестели жемчуга. Чуть заметный вырез лифа открывал нижнюю часть ее горла и начало гибких плеч, обрисовывая упругую постановку шеи и стройность бюста. Одета таким образом, она совмещала в себе прелесть молодой женщины с прелестью девушки. Ее полуобнаженные руки беспрестанно двигались, а красивые, покрытые кольцами пальцы то и дело оказывали матери ряд услуг: наливая в стакан воду, приготовляя хлеб или выбирая фрукт, чтобы его разрезать. Когда она отдавалась этим милым заботам, голубые глаза ее светились на розовом фоне ее личика, более оживленного, чем обыкновенно. Губы, в правом уголке которых виднелась маленькая ямочка, весело улыбались. Словом, у нее был довольный вид, как в те дни, когда что-нибудь ее радовало. Мать чувствовала себя счастливой, глядя на радостное выражение ее лица. С пер-

вого же взгляда она знала, тяготилась ли Жюльетта предстоящим вечером или же готовилась действительно веселиться; и в этом веселье ей чудилось возвращение в свет со всеми шансами на вторичный брак для этой дочери, которую она боялась скоро оставить в одиночестве. И вот, помолчав немного и приближая к уху дрожащую руку, чтобы вернее уловить ответ, она громко, как говорят глухие, сказала:

– Я, пожалуй, стану ревновать тебя к Габриелле: ты так рада к ней ехать. А кто же еще будет у нее?

– Очень немногие, – ответила госпожа Тильер, краснея. – Охотники из Общества охоты Кандаль. Она пригласила меня помогать ей.

– А все-таки пример этого брака мешает тебе вторично выйти замуж, – сказала госпожа Нансэ, качая головой. – Бедная она женщина, и сколько в ней мужества, и со всем этим нет детей!

– Да, – ответила Жюльетта, – в ней столько мужества, – и при мысли о тайном горе, точившем жизнь подруги, глаза ее мгновенно потускнели.

Людовик Кандаль еще до брака состоял в связи с некоей госпожой Бернар, женой одного богатого фабриканта, от которой имел сына. Вскоре после женитьбы связь эта возобновилась совершенно открыто, и в течение десяти лет графиня переносила ее с гордой покорностью, которая объясняется одним простым обстоятельством: все состояние принадлежало ей, и благородная женщина не хотела, чтобы последний из рода Кандаль был принужден жить на выклянченную у оскорбленной жены пенсию. К тому же она все надеялась иметь сына, который бы носил то имя де Кандаль, к которому она питала самый романический культ. Наконец, несмотря на все, она любила своего мужа. Из рассказов Габриеллы Жюльетта знала эту грустную историю и знала ее слишком подробно, чтобы не разделять всей ее горечи. Дополняя фразу своей матери, она прибавила:

– Не думаю, чтобы у меня нашлось когда-нибудь столько терпения.

– Однако, – возразила госпожа Нансэ, – я напрасно напомнила тебе об этих грустных вещах. Ты опять стала мрачной, какой я не люблю тебя видеть. Улыбнись мне перед отъездом и будь весела, как давеча. Я была так счастлива... Вот уже почти шесть месяцев, что я не видела тебя с такими глазами.

«Дорогая мама, – думала Жюльетта четверть часа спустя, в то время как карета уносила ее к улице Тильзит, где жили Кандаль, – как она меня любит! И как она знает выражение моих глаз и как умеет в них читать! Ведь она права: обед у Кандаль забавляет меня, как ребенка. Но почему?»

Да, почему? Этот вопрос, которого она еще себе не задавала ни после разговора с подругой, ни после письма к Генриху Пуаяну, внезапно овладел ею после замечания ее матери и как только она уселась в угол кареты. Карета – такое место, где женщины предаются самым глубоким размышлениям, так как здесь они чувствуют себя наиболее изолированными и защищенными от трепещущей вокруг них жизни. Всего лишь десяти минут, проведенных таким образом, – десяти минут, отделяющих улицу Матиньон от улицы Тильзит, – часто было достаточно для госпожи Тильер, чтобы проанализировать в мельчайших подробностях все факты, подмеченные на том или другом вечере. Но на этот раз потребовались бы целые часы для того, чтобы она могла разобраться в работе, происходившей в ее голове после разговора с Габриеллой, и хотя эта молчаливица хорошо себя знала, она все-таки на этот раз ошиблась относительно происхождения этой работы.

Зародыш любопытства, зароненный в ее душу именем Казалья, вызвал брожение в ее мечтах. Весь день, машинально двигаясь и разъезжая, она думала о нем, воспринимая без всякой предосторожности образы, витающие вокруг этого имени. Таким образом, ей представилась госпожа де Корсё такою, какой она встретила ее в эпоху разрыва с Казалем, – унылой, меланхоличной и изменившейся до неузнаваемости.

В каждом женском сердце заключается некоторая доля интереса к такому мужчине, который сумел заставить другую женщину любить себя до могилы. Этот смутный интерес давно уже шевельнулся в душе госпожи Тильер, и теперь она вспомнила, что тогда еще почувствовала безграничную жалость к покинутой и спрашивала себя: «Что именно в этом человеке способно вызвать любовь, доводящую свою жертву до бесчестия?...» Странное любопытство госпожи де Тильер разжигалось еще тем обаянием, каким обладают в глазах многих честных женщин профессиональные распутники. Уступив своему возлюбленному на самых нравственных основаниях, несмотря на неопределенность своего положения, на которое, впрочем, и она, и Пуаян смотрели как на брак, Жюльетта сохранила всю щепетильность честной женщины.

Это обаяние, в силу которого, если можно так выразиться, дон-Жуаны зачаровывали Эльвир, – вспомним бессмертный символ, созданный Мольером, – часто было отмечено и не раз возбуждало сетования. Оно до сих пор еще остается неразрешимой загадкой. Некоторые хотят видеть в нем особый вид женского безумия, аналогичного тому мужскому безумию, которое один мизантроп-юморист назвал «жаждой искупления», желанием искупить куртизанок любовью. Другие же ставили диагноз простого тщеславия. Не является ли предметом гордости для женщины то обстоятельство, что она, заставляя распутника обожать себя, этим самым как бы одерживает победу над своими бесчисленными соперницами, над теми, которые ей, как женщине добродетельной, более всего ненавистны? Быть может, мы разрешим эту загадку, предположив, что существует как бы особый закон «сердечного пресыщения». Мы способны воспринимать лишь ограниченное количество впечатлений определенного порядка. Лишь только вместимость эта заполнена, мы бессильны воспринимать подобные впечатления и ощущаем потребность во впечатлениях противоположных. Один факт подтверждает эту гипотезу: интерес к распутникам начинается у честных женщин лишь с тридцати лет, когда добродетельная жизнь дала им все свои несколько суровые радости. Конечно, в ту пору, когда госпожа Тильер приехала в Париж молодой вдовой, тотчас после войны, опьяненная страданием и гордостью, личность того самого Казаля, который все больше и больше занимал ее за несколько последних часов, могла внушить ей только антипатию. Но теперь среди охватившего ее вихря мыслей она, сама того не подозревая, «кристаллизировалась», по остроумному, вошедшему в моду выражению Бейля, и причиной этого был человек, с которым ей предстояло провести вечер. Она считала себя вполне искренней, давая на вопрос «почему» следующий смело сформулированный ответ: «Меня просто интересует узнать человека, которого так ценит Габриелла, несмотря на его дурную репутацию, – вот и все...» И чувствуя в глубине души что-то нездоровое в своем тайном желании этой встречи, она, чтобы оправдать себя, прибавила: «Это вечная история запретного плода». Во всяком случае, было ли это стремление нездоровым или нет, но самому тонкому наблюдателю не удалось бы его подметить, когда, выходя из кареты во дворе отеля Кандаль, она ясным и спокойным голосом сказала кучеру: «Подать карету в без четверти одиннадцать...» При входе в гостиную, где уже собрались все гости, ее загадочное лицо выражало спокойную ясность, и когда ей был представлен тот, ради кого в конце концов она приняла это приглашение, она, казалось, еле обратила на него внимание. Казаль поклонился ей с таким же равнодушием, и Габриелла, наблюдавшая за обоими, видя холодность своей подруги, испугалась, не прочел ли ей нравоучения Пуаян. Она подошла к Жюльетте и тихо сказала:

– Ну, что же? Как ты его находишь?

– Никак, – ответила госпожа Тильер. – Он – красивый малый, каких много. – Я говорила тебе, – продолжала госпожа Кандаль, – что он не в твоём вкусе. Предупреждаю тебя, что за столом он будет сидеть рядом с тобой. Но если тебе это неприятно, еще есть время переменить.

– К чему? – возразила Жюльетта, грациозно покачивая головой.

Габриелла не настаивала. Однако это чрезмерное равнодушие показалось ей неестественным, и она не ошиблась. Обе женщины были очень дружны. Но женская дружба отличается от мужской тем, что последняя не может существовать без полной откровенности, между тем

как вторая без нее обходится. Подруга никогда вполне не доверяет словам подруги, но это постоянное взаимное недоверие не мешает им нежно любить друг друга. В действительности, с тех пор, как госпожа Тильер вернулась в свет, ни один мужчина не производил на нее впечатления, подобного тому внезапному толчку, который она ощутила с первого взгляда на бывшего любовника госпожи Корсьё. Нетерпеливое ожидание натянуло все струны ее души, и она с непривычной для нее напряженностью приготовилась почувствовать или грусть разочарования, или радость встречи с существом, оказавшимся на высоте ее любопытства. В наружности Казалья было нечто такое, что могло сильно поразить романическое воображение даже без этой подготовительной внутренней работы. Молодой человек действительно являлся загадочной противоположностью своей репутации, контрастом, на котором Габриелла так настаивала, что смутно взвинтила воображение Жюльетты. Он вовсе не был «красивым малым, каких много», как с лицемерным презрением выразилась о нем последняя; не больше сходства было у него также и с неприятным обликом, оставшимся в ее памяти от давнишней их встречи в клубе, когда он с видом угрюмой наглости стоял, опершись на бархатную балюстраду ложи.

Для каждого лица существует такой возраст, такая исключительная пора, когда оно достигает высшей степени интенсивности выражения. Для некоторых мускулистых и желчных мужчин, каким был Казаль, такой период совпадает со второй молодостью. Казалю было тридцать семь лет. Разгульная жизнь, изнуряющая натуры лимфатические, парализующая полнокровных, приводящая к безумию нервных, чрезмерные и бесчисленные утомления дня и ночи Казалья утончили и как бы одухотворили. Они оставили на лице его следы, напоминавшие следы дум, знаки, как бы говорившие о внутренней благородной меланхолии. Лицо его отличалось той жгучей бледностью, которую невозможно искусственно приобрести и против которой бессильны и бессонные ночи, проведенные за игрой, и дни охоты, когда воздух стегает вас по лицу. Коротко стриженные и еще очень черные волосы густо обрамляли его квадратный лоб, разделенный посредине линией воли и постепенно расширявшийся к вискам.

В этом лбе было что-то мечтательное, так же, как в складках век что-то грустное, а в светло-зеленых с серым отливом глазах – нечто проникновенное, тонкое. Прямой нос и крепкий подбородок придавали силу этому немного помятому лицу, на котором чувственность губ смягчалась почти белокурыми усами.

Путешествие в Индию послужило Казалю предлогом для того, чтобы переменить прическу и обрить бороду, где уже начинали показываться серебряные нити. На его немного бесцветных щеках лежал легкий отпечаток горечи, выдававший разочарование человека, которому приходилось многому улыбаться с отвращением. Лицо это было одновременно и старым и молодым, энергичным и истомленным, но в чертах его не было и тени вульгарности. Казалось невозможным, что оно принадлежало профессиональному прожигателю жизни, хотя крепкий и вместе с тем гибкий стан свидетельствовал о привычке к ежедневной тренировке. Конечно, высокий и сильный Казаль не пропускал ни единого дня без того, чтобы не расходовать свою силу в каком-нибудь бурном спорте, как фехтование или игра в мяч, бокс или верховая езда, охота или катание на яхте. Его чересчур изысканная манера одеваться говорила о несерьезной заботливости переступившего за двадцать пять лет принца моды. Но он, казалось, не думал об этом. От всего его существа веяло такой очевидной привычкой к элегантности, что она казалась врожденной, как у животного, предназначенного для высшей жизни, созданного природой для того, чтобы одеваться и жить именно так, а не иначе. Все это сливалось в одно сильное и красивое, мужественное и неопределенно изнеженное целое, сразу объяснившее госпоже де Тильер, почему человек этот внушал такие трагические страсти в капризном и легкомысленном свете, а также почему другие мужчины, не исключая Пуаяна, питали к нему такую сильную злобу. Женщины, знающие нас гораздо лучше, чем мы воображаем, хорошо понимают, что успех, достигаемый возле них нашим братом, возбуждает зависть всей прочей корпора-

ции, аналогичную той ревности, которую они сами испытывают к тем из своих подруг, которые счастливы в любви.

Большинство мужчин в присутствии Казалья должны были чувствовать себя приниженными, так как из всех разновидностей честолюбия, присущих мужчинам, самым страстным и ревнивым является честолюбие физическое, хотя его наиболее тщательно скрывают.

– Положительно, он не похож на других.

Эта короткая фраза, которую госпожа Тильер мысленно повторяла четверть часа спустя, заключала в себе зачаток целого нового брожения мыслей; она являлась результатом экзамена, которому подвергают всякого вновь прибывшего даже самые рассеянные женщины несколькими быстро брошенными взглядами. Они знают, какие у вас глаза и губы, руки и волосы, жесты и дурные привычки, настроение и воспитание, прежде чем вы успеете узнать, осмотрели ли они вас или нет.

Когда было объявлено, что обед подан, Кандаль предложил руку Жюльетте, чтобы пройти в столовую, находившуюся во втором этаже, где обедали лишь тогда, когда собирался тесный кружок. Хотя эта маленькая комната, в противоположность большой, находившейся в первом этаже столовой, была устроена с целью служить рамой интимным беседам, она все-таки подробностями своего убранства вполне открывала нам характер графини, принадлежавшей, если можно так выразиться, к «участку Елисейских Полей» в предместье Сен-Жермен; т. е. в противоположность недовольным светом, населяющим окрестности улицы Сен-Гийом, она с самой старинной родовитостью соединяла вкус к шiku и вполне современной элегантности; но некоторые оттенки не позволяли смешивать ее с женщинами просто богатыми. Например, в простенке этой столовой она натянула один из десяти еще нетронутых ковров – царский подарок герцога Альбы старому маршалу де Кандаль, когда последний был послан к нему с тайным поручением. В этом отеле, вполне современном и вместе с тем полном реликвий ужасного прошлого, не было ни одного угла, который не выдавал бы странного культа молодой женщины к кровожадному предку. Особенно этот сотканный в Брюгге ковер, изображавший поход ландскнехтов через леса с поднятыми пиками с надписью, напоминающей о знаменитом маршале, являлся в этой узкой комнате знаком преувеличенной дворянской гордости. Может быть, в прежние времена в этом чувствовался бы вкус выскочки. Но такие женщины, как Габриелла, которые хотят одновременно блистать, как их соперницы финансового мира, и вместе с тем отличаться от них, легко увлекаются своей родовитостью, как будто приобщились к ней лишь недавно. Это одна из тысячи форм конфликта, возникшего сто лет тому назад между старой и новой Францией.

Иногда у госпожи де Кандаль срываются такие фразы: «Когда носишь такое имя, как мы...», и в тоне ее чувствуется такое хвастовство своей родовитостью, как будто фраза эта произносится не истой представительницей рода де Кандаль, вступившей в брак со своим двоюродным братом, таким же родовитым де Кандалем, как и она сама. Но все это не мешает ей приглашать к себе обедать, как, например, в этот вечер, внука знаменитого венского банкира Альфреда Мозе, который сидел рядом с сестрой ее герцогиней д'Арколь, вышедшей замуж за внука одного из наполеоновских маршалов.

Правда, уже два поколения Мозе были выкрестами. Что же касается до трех остальных гостей, то лишь один из них, виконт де Прони, происходил из рода, бесспорно стоявшего наравне с родом великого маршала, если не принимать в расчет, конечно, его славы.

Баронство же барона д'Артель восходило лишь ко времени царствования Людовика-Филиппа, а Казаль был сыном разбогатевшего на железнодорожных акциях промышленника, получившего позднее согласно «закону второго декабря» звание сенатора, как, впрочем, и отец самой графини. Такова непоследовательность нашего времени, когда самые чванные претензии уживаются с настоятельными требованиями светской жизни. Луи де Кандаль страстно любил охоту в самых широких размерах; несмотря на значительное состояние жены,

для удовлетворения этой, вероятно, наследственной страсти, чтобы содержать лучшую охоту во Франции, ему приходилось вступать в компанию с несколькими товарищами по клубу. Вот почему Мозе, единственным занятием которого была светская жизнь, сумевший различными дипломатическими ходами втереться в Жокей-клуб, занимал теперь в бюджете Пон-Сюр-Йонны весьма значительное место, что заставляло его компаньона и жену его обходиться с ним, как с другом. Графиня, будучи очень строгой христианкой и достаточно умной и справедливой, чтобы не поддаваться фанатичной антисемитской ненависти, выказывала однако сильную враждебность к иностранцам; она даже почти не принимала у себя своего врага госпожу Бернар, урожденную Юртель, из семейства брюссельских Юртелей. Но она выпутывалась из этого маленького противоречия, в силу которого какой-то Мозе допускался в тесный кружок ее друзей, ловкими фразами, подчеркивая в свое оправдание, что только для него она делает исключение. Она расхваливала этого товарища графа за его деликатность, за прекрасное умение держать себя в обществе, за щедрость во всех благотворительных делах. Похвалы ее были вполне заслуженными. Этот белокурый человек, облысевший в сорок пять лет, с проницательными глазами на худом, бескровном лице, обладал чрезвычайной последовательностью в преследовании намеченной цели, – в чем тайна успеха той сильной расы, типичные черты коей сохранились в нем, несмотря на крещение. Он выдерживал свою роль джентльмена с безупречной строгостью. Но если бы среди приглашенных нашелся философ, его поразила бы нераздельная с жизнью ирония, по которой потомок самого гонимого в истории народа сидел в этой столовой под подарком, преподнесенным одним жестоким гонителем евреев другому такому же гонителю.

Такую же иронию нашел бы он, видя, как госпожа д'Арколь, сидевшая за сервированным по-английски столом, держала в руках английское серебро, между тем как первый герцог д'Арколь прославился своей непримиримой ненавистью к британскому народу и вызовом на дуэль Хадсона Лоу. Но философы не бывают в свете, а если иногда и появляются в нем, то только для того, чтобы сейчас же потопить свою философию в вихре снобизма. Таким образом, во всяком самом небольшом собрании, хотя бы оно состояло всего из пяти или шести лиц, кроется всегда ряд самых бессмысленных противоречий. Самое благоразумное – не разбираться в них, так же как и в психологии самих этих людей.

Мозе, смаковавший в эту минуту крем из спаржи, был бы крайне удивлен, если бы ему напомнили, что старый маршал де Кандаль, вероятно, сжег бы его собственноручно; точно так же удивился бы д'Артель, ухаживавший за своей соседкой-графиней, если бы ему припомнили, что прадед его ходил за сохой по полям Босы; а также удивилась бы и госпожа де Кандаль, если бы ей доказали, что, посадив Казаля возле Жюльетты, она совершила нечто не вполне достойное очень порядочной женщины; но не меньше их всех удивилась бы и Жюльетта, услышав, что под равнодушием, которое она все более и более выказывала своему соседу, скрывался возрастающий к нему интерес. И Прони, занявшийся с радостью знатока смакованием амонтильядо, разлитого гостям после первого блюда, и гастроном де Кандаль, скорбевший о том, что не может пригласить к себе свою возлюбленную, но утешавшийся тем, что у него превосходный стол, – были вполне застрахованы от тех сюрпризов, которые преподносит нам фантазия. Наконец, что касается Казаля, то он в своей жизни слишком много видал видов, чтобы чему-либо удивляться.

Обед, конечно, начался со всевозможных толков о происшествии, жертвой которого сделалась госпожа де Кандаль; но затем, так как истые охотники даже в мертвый сезон не могут говорить и десяти минут без того, чтобы не примешать к разговору своей любимой страсти, происшествие с графиней послужило лишь предлогом к бесконечным рассказам об охотничьих приключениях, а с них разговор быстро перешел к прениям о различных способах охоты. Д'Артель, обладая грубой наружностью внука крестьянина, любил охоту не меньше де Кандаля, но только охотился иным способом. Например, пока загонщики гнали дичь, а охотники

подстерегали ее где-нибудь на просеке, он часто бросал их и шел один бродить по полям и лесам. В нем было что-то браконьерское, между тем как граф Людовик любил псовую охоту, захват зверя и барское торжество дележа добычи. В сотый раз возобновляли они прения о той и другой разновидности этого спорта и возвращались к воспоминаниям о памятных охотах; среди общего говора слышались такие фразы:

– Помните ли, д'Артель, – говорил Прони, – эту удивительную охоту с великими князьями в Круа-Сен-Жозеф? Сколько птиц убили мы в этот день?

– Три тысячи, – отвечал д'Артель, – но вот мое горе: у меня не было бездымного пороха!

– Вы можете себя с этим поздравить, – прервал его Мозе, – бездымный порох портит ружья. На днях мы охотились у Тараваля с маленьким ла Модем, и после этого его стволы Purdeys оказались совершенно расшатанными.

– Какой стрелок этот ла Моль! – воскликнул де Кандаль.

– Как можете вы это говорить? – возразил Прони. – Самое большее, если он первый во втором разряде; и это говорите вы, вы, знающий Старбана!..

– Старбана! Старбана! – повторил д'Артель, качая головой.

– Ах, – настаивал Кандаль, – если бы вы видели его, как мы, в тот момент, когда он убил шесть грауз, летевших на одной линии: двух – встречным выстрелом, двух – на повороте и двух – в угон...

– Еще бы! – сказал Мозе, – он каждое утро упражняется перед зеркалом с тремя ружьями, ежесекундно вскидывая каждое из них, а его слуги ему их подают...

– Так, значит, он должен брать с собой двух людей, чтобы нести за ним его три ружья... И вы называете это охотой?.. – воскликнул д'Артель.

– Скажите, де Кандаль, – спросил Прони, – это у вас все еще тот самый херес, который вам уступил Дефорж? Он превосходен!

Госпожа д'Арколь слушала эти разговоры, слышанные ею сотни раз, со спокойным благодушием, присущим итальянкам и унаследованным ею от матери, на которую, в противоположность Габриелле, она сильно походила. Жюльетта хвалила вкус Габриеллы, восхищаясь цветами, украшавшими стол. Посредине в старинной серебряной вазе стоял букет из белой сирени, больших желтых роз и орхидей. Две другие небольшие вазы такой же тонкой работы были наполнены орхидеями лилового оттенка с бархатистыми темно-лиловыми сердцевинами. Целый ковер русских фиалок сплетал между собой три букета. Белоснежная скатерть, хрусталь и плоская посуда окаймляли блестящим бордюром этот темный цветник. Свечи с розовыми абажурами освещали стол ярче остальной комнаты, что давало возможность рассмотреть мельчайшие подробности сервировки, начиная с маленьких серебряных тарелочек для масла, стоявших у каждого прибора, и кончая грациозной прелестью чеканных фигурок на крупных вещах сервиза. Такое совершенство элегантности достигается очень редко даже в самых богатых домах. Оно требует огромного состояния, векового наследственного аристократизма и исключительного вкуса у хозяйки дома. Когда госпожа Тильер начала хвалить это прелестное расположение цветов и художественных предметов, Казаль поднял голову. Его белокурая соседка высказала вслух то, о чем он думал про себя в эту минуту.

Захваченный, с одной стороны, разговором охотников, а с другой – фразами, которыми перекидывались через стол две подруги, Казаль с самого начала обеда не сказал и двадцати слов. Пока он только смотрел вокруг себя и довольствовался прелестными впечатлениями, которые никогда не пресыщают утонченно-чутких от природы людей.

Впрочем, хотя он никогда не говорил ни о картинах, ни о художественных безделушках, но обладал тонким артистическим чутьем, приобретенным в разговорах с двумя или тремя выдающимися художниками, привлеченными в свет на свою погибель изысканием выгодного заказа, капризом богатой светской дамы или тщеславным желанием водить знакомство с богатыми людьми. Таким образом, Казаль научился смотреть, – способность простая, но, к сожа-

лению, настолько редкая, что из всех присутствовавших гостей только он и госпожа Тильер наслаждались прелестью окружавшей их обстановки. Он также заметил, что туалеты трех женщин гармонировали с их внешностью: красное платье госпожи Кандаль – с ее огненно-золотистыми локонами, белое платье госпожи д'Арколь – с матовой томностью ее лица, густыми черными волосами и светло-кариими глазами, а розовые переливы под черным кружевом платья Жюльетты – с ее пепельными волосами. После фразы, заставившей его поднять голову, он начал присматриваться к своей соседке внимательнее, чем в начале их знакомства.

В это первое мгновение, когда все самые глубокие фибры ее души напряглись от любопытства, она показалась ему такой, какой уже не раз казалась издали, в театре, – довольно хорошенькой, но почти незначительной особой. Женщины, обладающие более утонченной прелестью, чем блестящей красотой, часто вначале остаются незамеченными. Они напоминают те мелкие и изящные пейзажи нашей средней Франции, мимо которых туристы проходят быстро, стремясь к другим, между тем как лица, близко знающие эти пейзажи, находят все новые и новые основания предпочитать их всем прочим. Рассматривая госпожу Тильер нескромно-почтительным взглядом, которым хорошо воспитанные распутники окидывают женщин, он заметил, что у его соседки была очень тонкая и гибкая талия, что начало плеч, руки и линия затылка указывали на безупречное совершенство форм, и наконец, что черты ее лица, пожалуй, слишком мелкие, были зато идеально изящны. На месте Казалья другой сейчас бы сказал себе: «Это очень хорошенькая женщина» и стал бы «капельку за ней ухаживать», как говорится в наивных старинных романах. Но Казаль, как только он входил в роль наблюдателя, от изучения внешности сейчас же переходил к изучению характера. Несмотря на свою вечно праздную жизнь, он не разучился мыслить. Чувство превосходства, сквозившее во всей его особе, было ложным лишь наполовину. Главным его качеством была удивительная сила суждения, применяемая, к сожалению, по недостатку принципов и определенного таланта, лишь к предметам роскоши и внешнего блеска. Вращаясь в области пустоты и ничтожества, он обладал ценным даром – видеть главное. Употребляя выражение, богатое бесчисленными оттенками, как и то качество ума, на которое оно указывает, он никогда не проходил мимо самого существенного. Появлялся ли в клубе новый член, – будь он провинциал, американец, англичанин, русский или аргентинец, – в несколько дней Казаль точно определял вам, что заключалось «в утробе» этого незнакомца, – прекрасное выражение аргот Парижа, который обращается с людьми ему неизвестными, как любопытные девочки со своими куклами: поиграв с ними, они вскрывают их ножницами, после чего сейчас же бросают. Появлялся ли на эстраде новый фехтовальщик, Казаль сразу разбирал его игру почти так же хорошо, как и Камилл Прево, учитель, с которым он больше всего любил фехтовать именно за его непогрешимый анализ. При этом он понимал толк в лошадях, как барышник, а в обедах – как повар.

Как-то раз, временно взяв на себя обязанности заведующего хозяйственной частью в одном ныне уже исчезнувшем клубе «Фенсин», он на другой же день призвал к себе главного повара и спросил его: «Почему вы сегодня употребили масло на десять су за фунт дешевле вчерашнего?» Он не ошибся. Эта способность чувства и ума к верному определению сказывалась у Казалья не только в мелочах, но и в вопросах более важных: он также мало ошибался, когда речь шла о будущем какой-нибудь пьесы, актера или книги. Не зная чего-нибудь, он тактично молчал и поэтому никогда не попадал впросак; никогда не высказывал тех пошлых суждений, благодаря которым салонные умники так ненавистны специалистам.

Все эти способности дают некоторым людям преимущество, и их присутствием или отсутствием объясняется, почему в такой однообразной и монотонной карьере, как светская жизнь, такие люди являются диктаторами, между тем как другие лишь идут за ними. До сих пор еще моралисты трудятся над разрешением вопроса, каким образом верность наблюдения, скромность здравого смысла и сила точного суждения, сочетавшись в одном человеке, часто пропадают даром, причем ему не приходит мысль сделать что-нибудь полезное или даже

серьезное. Доказывает ли это странное несоответствие между средством и целью глубокую застенчивость или же в нем можно видеть лишнее доказательство той истины, которую так мудро определил наш язык, производя слово «развращенность» от латинского глагола, значение коего «разбивать»? Порождает ли привычка к ранним и постоянным наслаждениям развращенность нашего духа, и разрушает ли она ту внутреннюю силу, которая создает Идеал? Каковы бы ни были причины этих странных последствий, но несомненно, что Казалью было суждено провести свою жизнь в кутежах вместе с такими товарищами, из коих ни один не стоил его, и тратить лучшие способности своего ума на разрешение таких вопросов, как тот, который он задал себе, лишь только госпожа де Тильер привлекла его внимание: «Что собой представляет эта маленькая особа?» Впрочем, «эта маленькая особа», как непочтительно называл ее в своих мыслях Казаль, стоила того, чтобы стать предметом изучения.

Начав это изучение в ту минуту, когда дворецкий предлагал утонченному вкусу присутствующих бутылку магнома новогоднего разлива Кос д'Этурнель, Раймонд сразу заметил необычайное волнение молодой женщины. Оно выражалось в быстрых скачках от одной мысли к другой в разговоре с де Кандалем или графиней – с ним она еще не заговаривала, – в дрожании улыбающихся губ и, наконец, трепетании век, под которыми она, казалось, хотела потушить свой взгляд. Из всего этого он вывел два заключения: во-первых, что под этой внешностью нежной хрупкой пастели с бледно-белокурыми волосами, прозрачным цветом лица и светло-лазоревыми глазами таилась необыкновенная впечатлительность и страстность, постоянно скрываемая и подавляемая работой над собой; а во-вторых, что за столом находился кто-то, кем она чрезвычайно интересовалась. В мгновение ока он перебрал всех присутствующих мужчин. Не был ли этим «кем-то» де Кандаль? Нет. Она слишком весело с ним болтала. Д'Артель? Но барон давно бы это заметил и не проводил бы, как он это делал теперь, четыре вечера из семи за кулисами Оперы. Прони? Этот виконт, обжора, давно уже хвастался тем, что «распрягся» несколько лет тому назад. Мозе? Но госпожа д'Арколь, говорившая с ним в эту минуту и за которой он официально ухаживал уже несколько месяцев, не бросила Жюльетте ни одного многозначительного взгляда, без которых никогда не обходятся даже самые осторожные ревнивые женщины. Кто же оставался, кроме самого Казалья? Несмотря на свои успехи, может быть, и благодаря им, молодой человек не был особенно тщеславен, но и не отличался излишней скромностью. Он считал вполне возможным возбудить к себе не только каприз, но и страсть... и даже с первой встречи... Но он также думал, что мог внушить женщине даже антипатию, и допускал возможность, – а это доказывает его здравый смысл – остаться совершенно незамеченным. Это зависело от женщины и от того, в какой момент ее жизни он ее встретит.

В какой период ее сердечных переживаний встретил он госпожу Тильер? Вот вопрос, на который не смог бы ответить самый проникательный парижанин, имея возможность судить о ней лишь по таким нечаянно услышанным отрывочным фразам:

– Госпожа Тильер? Это прелестная женщина, очень изящная и вместе с тем простая...

– Что вы, мой друг, она невыносимо позирует...

Или:

– А все-таки на свете есть честные женщины, – например, госпожа Тильер, есть ли у нее хоть один любовник?..

– Эх! Она – лукавая женщина и лучше других скрывает свою игру – вот и все...

«Если ее интересую я, – подумав, заключил Казаль, – то надо выжидать, как в фехтовании».

И действительно, это было самым мудрым решением, так как госпожа Тильер, вероятно, слышала о нем нелестные отзывы. Он слишком хорошо знал свое собственное положение, чтобы сомневаться в этом. Для него этого было достаточно, чтобы наметить себе соответствующую роль человека тактичного и сдержанного, следуя методу, инстинктивно практикуемому всеми мужчинами, пользующимися успехом у женщин, а именно: заинтересовать, введя

в заблуждение. Итак, он продолжал оставаться в тени, воздерживаясь от привычных выходов балованного ребенка, больше слушал, чем говорил, напоминая своей корректностью секретаря при посольстве старой школы. И результаты такой манеры себя держать не заставили себя ждать. Сначала Жюльетте хотелось, чтобы сосед ее сам пошел к ней навстречу, но, испугавшись, что обед кончится и ей не удастся узнать, что именно скрывается за внешностью этого человека, к которому она чувствовала такое влечение, она сама обратилась к нему с вопросом, и это заставило его заговорить. – Верьте мне, если хотите, – говорил в эту минуту Прони, возбужденный вином, после которого усиливалась его врожденная склонность к преувеличенным рассказам, – но в Нормандии я знал браконьера, охотившегося без рук. Да, господа, его сынишка заряжал ему ружье, клал на камень, и наш охотник стрелял... ногами! И верьте мне, у сторожки он бил кроликов не хуже всякого другого...

Пока все сидевшие за столом протестовали против этого фантастического анекдота, который нормандец Прони продолжал подтверждать, качая худым и красным лицом, госпожа Тильер обратилась к Казалю и сказала ему взволнованным голосом:

– А у вас нет в запасе какой-нибудь необыкновенной истории, как у этих господ?

– Ах, боже мой! – возразил молодой человек, улыбаясь. – Число охотничьих рассказов ограничено, и они скоро все будут исчерпаны. Но все-таки я еще не знал того рассказа, который только что нам преподнес Прони и который переходит границы... Но охотникам можно простить их хвастовство ввиду того, что среди нашей искусственной и поддельной цивилизации страсть эта является чем-то здоровым и естественным...

– Признаюсь, – возразила Жюльетта, – для меня непонятно, что может быть здорового и естественного в том, что семь или восемь человек становятся у опушки леса и расстреливают в упор несчастных кроликов и фазанов, даже не согнав их предварительно сами.

– Во-первых, это лишь один из видов охоты, – сказал Казаль, – но он является уже началом... после которого развивается любовь к более сложной и серьезной охоте. Я видел моих товарищей, – о, конечно, не многих, – начинавших с этого и кончавших поездками в Индию за тиграми, в Африку за буйволами и в Туркестан за муфлонами. Поверите ли, что у троих из них хватило мужества отправиться на границу Китая в поисках за зверем, о котором говорил путешественник Марко-Поло, и они разыскали его и убили.

– А сами вы участвовали в таких больших охотах?

– Да, в некоторых, – ответил он, – более легких. Я ездил в Индию и убил с полдюжины тигров... Но от самого путешествия у меня остались исключительные воспоминания... Когда в течение многих лет видишь восход солнца лишь из окон клуба, то очарование, охватывающее вас при виде его со спины слона, положительно перерождает душу, такое же чувство является у вас при переходе через широкие, розовые реки, расцвеченные занимающейся зарей... Немного опасности усиливает восторг перед пейзажем, хотя я не могу поручиться в том, что в конце концов это не надоест. Но клянусь, что в эти минуты жизнь клуба со всеми его развлечениями кажется очень и очень ничтожной...

– Но зачем же вы ведете такую жизнь? – спросила она.

Пока Казаль говорил, Жюльетту охватило волнение, которое вызывает у женщин личная храбрость мужчин, оно было настолько сильным, что на несколько мгновений Жюльетта перестала следить за собой. Она сама удивилась своему восклицанию, и это заставило ее покраснеть. Она нашла себя слишком фамильярной и испугалась, чтобы он сейчас же не воспользовался этим, перейдя в такую же фамильярность по отношению к ней. Но он тонко ответил ей, добродушно покачивая головой:

– Это – то же самое, что история женщин, несчастных в браке. Все поставлено на карту, и карта – бита. В двадцать лет начинают веселиться, потому что молоды, а в пятьдесят продолжают, потому что молодость уже прошла... И кончают тем, что остаются никому не нужными неудачниками. Но когда это осознаешь...

Говоря это, он смеялся детским смехом, сохранившимся в нем и составляющим одну из его прелестей. Нам всегда кажется смешным, когда такие богатые, независимые и всюду желанные люди, как Казаль, говорят о том, что жизнь их загублена. Но смех его искупал смешную сторону такого признания; впрочем, ее обыкновенно не замечают женщины. Самые утонченные из них, если только в них есть сердце, готовы верить мужчине, играющему перед ними роль неудачника. Быть утешительницей такого рода горестей, – вот роман, о котором тайно мечтает каждая из них. Но, может быть, Казаль не лгал, осуждая существование, порвать с которым не имел сил. Он, действительно, был пресыщен своими обычными ощущениями. Между им и госпожей Тильер наступило молчание, во время которого в общий разговор вкралась нетактичность, которая обозначается у парижан малопонятным термином «gaffe». Обед приближался к концу. В такие моменты совершаются крупные промахи; их неизбежно вызывает увлечение разговором да несколько лишних рюмок доброго вина.

Барон д'Артель заговорил о госпоже Корсьё, бывшей любовнице Казалья, о чем знали все присутствующие. Он не говорил о ней ничего злого, но этого было достаточно, чтобы поставить молодого человека в неловкое положение.

– Какая чертовская мысль, – продолжал он, – пришла в голову этой бедной Полин: вдруг перекрасить свои волосы и превратиться в блондинку? Неужели у нее нет подруги, которая сказала бы ей, что это старит ее на добрых десять лет, а для нее уже не только десять лет, но даже и пять становятся излишними...

– Это вроде старого Бониве, с которым вы, вероятно, часто встречались, – политично заметил Мозе, обращаясь к Габриелле, с целью переменить разговор. – Вы знаете, что он красился?

– Вы хотите сказать, что он ваксился, – возразил де Канцаль.

– Что он пачкался, – прибавила госпожа д'Арколь.

– Одним словом, – продолжал Мозе, – красился ли он, ваксился или пачкался, но он скрывал это от всех, не исключая своего парикмахера, так что тот говорил мне с самым комичным видом: «Ах, если бы только я смел с ним об этом заговорить, я бы так хорошо ему все устроил!» Но вот Бониве заболевает. Ревматизм сковывает его. Я прихожу к нему и нахожу его белым как снег. Догадайтесь, что было его первым словом: «Взгляните, Мозе, я так страдал, что даже поседел».

– Это не мешает тому, – продолжал д'Артель, который подобно всем нетактичным людям хотел настоять на своем, – что госпоже де Корсьё пора бы успокоиться. А сколько приблизительно ей может быть лет? Вы, Казаль, вероятно, это знаете?

Произнося эти слова, неосторожный болтун почувствовал всю их нескромность. Он страшно покраснел и резко остановился среди всеобщего молчания, что сделало положение молодого человека еще более щекотливым. Он не мог ни нападать на свою бывшую подругу, ни защищать ее. Приняв вполне естественный вид, он просто сказал:

– Госпожа Корсьё? Но когда на прошлой неделе я встретился с нею в Опере, ее возраст казался возрастом очень хорошенькой женщины, что же касается до Бониве, то, будучи старинным пэром Франции, он являл собой, сидя в кресле на заседании Земледельческого Общества, очень дряхлую и чрезвычайно разбитую персону, несмотря на свою привычку говорить с важностью: «Возраста не существует, все дело в силе»...

Все рассмеялись, и разговор перешел на другую тему.

Казаль почувствовал, что особенно понравился своей соседке, и старался поддерживать разговор общим, что дало ему возможность рассказать два или три красивых анекдота из своей поездки в Японию. Он говорил так мило и остроумно, что когда все встали из-за стола, графиня подошла к нему и лукаво сказала:

– Однако, как вы старались перед моей подругой, будьте довольны, вы ей понравились, а теперь идите спокойно курить... Да, вы не курите? Ну, все равно, я ведь знаю вас, – вам хочется

поговорить с этими господами посвободнее и мирно выпить ликеру?... Не пейте слишком много и скорее возвращайтесь к нам...

Молодой человек, улыбаясь, поклонился. Но когда через час товарищи его вернулись из курительной, госпожа Кандаль напрасно искала среди них его мужественное и умное лицо. Из кокетства он исчез в минуту успеха. Она взглянула на Жюльетту, которая тоже, заметив его отсутствие и думая, что за ней никто не наблюдает, нахмурила свои красивые брови. Когда в без четверти одиннадцать ей объявили, что карета подана, недовольство ее еще не улеглось, и лукавый вопрос графини при прощании не мог рассеять его.

– Ты не очень скучала? – спросила она. – Теперь ты сама видишь, что Казаль лучше своей репутации.

– Но, – сказала Жюльетта, принужденно смеясь, – он не дал мне достаточно времени, чтобы я могла судить о нем.

«А, в самом деле, его быстрое исчезновение ее оскорбило. Экий он неловкий!» – подумала Габриелла, когда подруга ее уехала.

Несмотря на всю свою чуткость, она ошиблась, так как, сев в карету и направляясь к улице Матиньон, Жюльетта только и думала об этом якобы неловком человеке и была неприятно поражена, когда открывший ей дверь лакей, снимая с нее пальто, объявил ей:

– Граф Пуаян здесь и ждет маркизу. О нем она совершенно забыла...

Глава III

Другой

Самым любимым занятием Жюльетты были продолжительные беседы у огня в поздние, необычные часы. Любовь эта так согласовалась со всей ее натурой, что Жюльетта принимала в эти часы не только человека, имевшего право на ее интимность, но и самых платоничных из своих верных поклонников: д'Авансона, Феликса Миро, генерала де Жард и Аккраня – каждого в отдельности. В этой тактике заключалась женская осторожность, так как многочисленность таких посещений исключала возможность каких-либо пересудов среди прислуги. В свои отношения к друзьям она вкладывала такое искусство, что те, кому она дарила свою дружбу, уже никогда не могли забыть о ней. Жюльетта поняла, какое сильное обаяние может иметь на мужчину среди банальной и суетной парижской жизни уголок гостиной, где он находит в определенном час молодое, чуткое, элегантное существо, готовое долго его слушать; и это существо то утешает его, то советуется с ним, как будто самое главное в ее жизни составляют эти минуты, проведенные наедине в неясной тайне. Сердце открывается тогда свободнее. На уста напрашиваются интимные признания, а госпожа Тильер по своей натуре страстно их любила. Она обладала от природы тем свойством, которое у одних, вырождаясь в педантизм или в тщеславие, создает вдохновительниц знаменитых людей, муз и нимф Эгерий, а у других, перерождаясь в святость, – великих подвижниц. Ей нравилось окружать своим умным влиянием тех, кто ее интересовал. Любовь придавала новую силу этим утонченным наслаждениям. Лучшими часами своей связи с де Пуаяном она была обязана им. Сколько вечеров в первый период их любви, до того как стала его любовницей, провела она таким образом, бесконечно слушая его рассказы о горестях его жизни!.. Он говорил ей о своем грустном детстве, проведенном в тени старого отеля Пуаян в Безансоне после смерти матери, когда его отец своим суровым обращением сковал все порывы его юности. Он говорил ей о своем браке с долго любимой девушкой, о первой ревности, о том, как стыдился он своих подозрений, и, наконец, об очевидности измены – какой измены! – с другом детства, которого он любил больше всего. Эти предполночные часы казались тогда Жюльетте слишком короткими, чтобы следить за драмой, развертывавшейся перед ней сцена за сценой, чувство за чувством, чтобы следить за дуэлью двух друзей, где оба были ранены, за бегством госпожи де Пуаян, отчаянием графа, возвращением к жизни благодаря сознанию долга, за его участием в войне семидесятого года в качестве капитана ополченцев Дубского департамента, за его вступлением на политическую жизнь в пору Собрании в Бордо. А когда жалость привела ее сперва к ласке, а позднее к полной отдаче, когда она сделалась тайной женой этого несчастного человека, сколько еще вечеров пережила она, выслушивая с жадностью любящей подруги рассказы мужественного оратора о том, как он провел день, возвращая ему в часы уныния веру в себя, предупреждая его о той или иной скрытой опасности, восхищаясь с трогательным воодушевлением, когда этот непобедимый атлет консервативных идей раскрывал ей – ей одной – широту своих замыслов и великодушные своего учения. И при всем том она никогда не выходила из роли женщины, умея ласково говорить и слушать без тени претенциозности. Она бывала такой без всяких соображений, просто уступая своей природе. Как в некоторых натурах живут врожденное понимание и любовь к музыке или живописи, механике или поэзии, так в ней жили понимание чужого сердца и любовь к нему, – прекрасный дар, благодаря которому женщина может проявлять высшее милосердие и самое благотворное – милосердие души; но дар опасный, граничащий с греховным любопытством чувственного опыта, а также быстро увлекающий нас к компромиссам с совестью и бросающий нас в лабиринт ложных положений. Например, как найти в себе на склоне страсти честность и благородство, нужное для разрыва, если остаешься еще жертвой симпатии, заставляющей чув-

ствовать страдания человека, которого уже не любишь настоящей любовью? Острое ощущение причиняемых нами страданий пронизывает нашу душу и заставляет лгать, чтобы прекратить эти страдания. Мы отступаем перед признанием, которое могло бы быть менее жестоким, если бы было произнесено более резко. Мы не прекращаем агонии, которая создается нашей позорной слабостью. Мы делаемся лицемерными из сострадания: странная ирония сердечных противоречий, обращающая в порок наши лучшие достоинства и заставляющая нас гадко поступать потому, что мы слишком сильно чувствовали!

Такие размышления о преимуществах и недостатках своего собственного характера не приходили в голову Жюльетте, хотя ей часто случалось говорить себе по поводу тех или иных мелких обстоятельств, требующих ясного, хотя и неприятного отказа некоторым из своих друзей: «Я была слишком нерешительна» или «Мне следовало сказать определеннее». С нашим характером часто происходит то же, что и с нашим здоровьем. Мы долго страдаем, прежде чем сознаем свое нездоровье. Так и госпожа де Тильер не понимала, почему многое из того, что составляло радость ее прежних лет, теперь ей было в тягость: например, вечерние тет-а-тет с Пуаяном, когда между ними наступало долгое молчание, и попытки их обоих оживить разговор лучше всего подчеркивали контраст между прежними и настоящими вечерами. Каждый раз она приписывала это стеснение, казавшееся ей лишь минутным, каким-либо мелким случаям.

Так, например, когда по возвращении из отеля де Кандаль простая фраза лакея, объявившего ей о присутствии де Пуаяна, болезненно поразила ее, вернув к действительности, она сейчас же приписала это боязни, что возлюбленный ее оскорблен, тем более, что, снимая пальто, она заметила стоявшего в углу передней лакея графа. На вопрос ее он ответил:

– Я жду корректуру речи графа, чтобы снести ее в типографию...

«Ах, правда, он говорил сегодня речь», – подумала Жюльетта, – «он, вероятно, сердится, что я вернулась так поздно. Он не привык видеть с моей стороны так мало внимания к себе».

В действительности же это посещение было ей прямо неприятным, так как она чувствовала потребность продолжать мечтать в одиночестве о Казале, как мечтала о нем в карете. Вот до какой степени глубоко было впечатление, произведенное на нее этой встречей. Но как могла она допустить такое объяснение своему недовольству, будучи уверенной, что любит Пуаяна на всю жизнь? Эта уверенность была оправданием ее ошибки. Ах, сколько иллюзий создаем мы себе и в течение скольких лет, когда чувства наши начинают умирать!.. Но иногда в один час разбиваются все эти иллюзии, и это должна была испытать Жюльетта в данный вечер.

– Вы сердитесь на меня, мой друг? – сказала она, входя в гостиную в стиле Людовика XVI, слабо освещенную сливавшимся светом камина и лампы.

Граф сидел за столиком, за которым она сегодня ему писала. Увидя ее, он быстро встал, чтобы расцеловать её пальцы, и, показывая кипу бумаг, которыми был завален столик, ответил:

– Сержусь? Но, как видите, у меня еще не хватило на это времени. Ожидая вас, я работал, за что, надеюсь, вы на меня не сердитесь. Не правда ли? Заседание кончилось очень поздно, а мне еще нужно было проверить корректуру для «Официального Вестника». Я приказал Жану принести мне их к вам, и, по счастью, – прибавил он довольным тоном человека, исполнившего долг, – они почти окончены... Вы позволите?

Сев за столик, он окончил работу, начертав на полях несколько знаков; потом собрал разбросанные листы, вложил их в приготовленный конверт и сам вручил его ожидавшему в передней лакею. Все это продолжалось не более десяти минут. Почему же Жюльетта, желая загладить обиду друга и приготовившись быть с ним ласковой и нежной, теперь, в свою очередь, почувствовала себя оскорбленной, встретив с его стороны такой спокойный прием?

Конечно, вина ее, заключающаяся в том, что она в течение целого вечера интересовалась Казалем настолько, что совершенно забыла о Пуаяне, сама по себе не была тяжким преступлением. Но с точки зрения сердечной привязанности дело обстояло иначе. Ей хотелось, – она

только смутно сознавала это, – чтобы любовник ее рассердился на нее, может быть, и несправедливо, но этим очистил бы ее совесть и дал ей возможность искупить свою вину милыми ласками. Контраст между ее внутренним волнением и внешним спокойствием Пуаяна огорчил ее; от его приема на нее повеяло холодом. С тех пор как любовь ее начинала угасать, ей несколько раз казалось, что у Генриха не было больше к ней прежних порывов нежности. Первым признаком и странным миражом бессознательно умирающей страсти бывают упреки в недостатке любви тех, кого мы сами начинаем меньше любить. И мы искренно верим в это. Никогда еще госпожа Тильер не чувствовала, как в эту минуту, что между ней и Пуаяном что-то умерло. Она подошла к камину и, протянув к огню ногу в прозрачном шелковом чулке, стала следить в зеркале за каждым движением графа, занимавшегося с заботливостью автора последними поправками корректуры. Почему же вдруг другой образ стал между ними, закрыв собою ее возлюбленного? Почему же в каком-то проблеске полугаллюцинации она увидела человека, рядом с которым только что обедала, «красавца Казаля», как назвала его Габриелла, его могучий и стройный силуэт с гибкими движениями, говорившими об его силе, с мужественным, несмотря на усталость, лицом? Но вот воображаемый облик исчез, уступая место реальности, и она вновь увидела того, кому принадлежала в течение многих лет, отдавшись ему по свободному выбору. Рядом с тем он показался ей вдруг таким неуклюжим, болезненно-тщедушным, что сравнение это заставило ее почувствовать невероятную неловкость.

Генрих де Пуаян, которому минуло тогда сорок четыре года, был довольно высок и худ. Горе, точившее его молодость, сменилось утомлениями парламентской жизни; все это вместе взятое подорвало его здоровье. Привычка к сидячей работе немного сгорбила его узкие плечи. Поседевшие белокурые волосы начинали редеть. На бледном лице выступали темные пятна, говорившие о вялости крови, о болезненном состоянии желудка и нервозности, развивавшейся в нем вследствие сидячей жизни. В чертах этого исхудалого лица и линиях фигуры, худоба которой обрисовывалась фракком, было много аристократизма; но в них чувствовалась слабость организма и преждевременное истощение. Взгляд чудных, искренних голубых глаз и надменное выражение бритого рта оставались прекрасными. Они выражали то, что поддерживало благородного оратора с самого раннего и несчастного его детства, – сдержанную горячность чувства, глубокую веру и непобедимую энергию воли. Этому человеку женщина не могла отдаться иначе, как принося ему лучшее самой себя: или горячо увлекаясь его красноречием, или же страстно желая залечить те раны, которыми была полна его жизнь. Из таких побуждений госпожа Тильер и отдалась ему. Но опасность подобных союзов, основанных исключительно на романическом чувстве, когда женщина отдается лишь из преклонения пред умственным превосходством своего возлюбленного или из сентиментальной жалости к нему, заключается в том, что всегда наступает час, когда восхищение это притупляется в силу привычки, а жалость ослабляется самым удовлетворением. Тогда глаза ее открываются. Она содрогается, сознав ошибку своих чувств, но – увы! – слишком поздно. Счастливы те, у которых сознание это является независимо от каких-либо посторонних влияний или же без того, чтобы это внезапное разочарование было вызвано обаянием другого мужчины! Но если в минуту, пока Жюльетта жадно вглядывалась в зеркало, в ее светлых глазах и мелькнула самая сильная, какая только может пронизать гордую душу, горечь сожаления, то Генрих Пуаян, подойдя к ней, ничего не заметил, – так же как и дворецкий, приносивший по вечерам, когда они бывали вдвоем, серебряный поднос с самоваром, чайником, пирожками, графинчиком водки, ковшиком со льдом, чашками и стаканами.

– Вы много поработали сегодня, хотите, я вам приготовлю грог? – сказала молодая женщина, оборачиваясь к графу с самой очаровательной улыбкой.

Можно ли такие улыбки называть лицемерием?

Цель их – избавлять от лишних огорчений, и те женщины, на устах которых они появляются, считают грехом показывать свою тайную горечь. Они сами не знают, на какой всту-

пают путь с того момента, когда взгляд их и лицо перестают быть отражением их сердца даже в таких незначительных поступках, как приготовление обычного витья тому, кому они еще хотят нравиться.

– Пожалуйста, – ответил граф на предложение своей подруги и, в свою очередь, принялся смотреть, как она своими тонкими руками наливала горячую воду в русский стакан с золоченым резным подстаканником и размешивала в нем ложкой куски сахара. Сидя у подноса, она была очаровательна в своей позе и больше, чем когда-либо, напоминала бледным золотом своих волос пастель прошлого века. В ее прекрасных обнаженных руках было столько грации и гибкости, а в сочетании розовато-черного платья с цветом ее лица, немного оживленном пламенем камина, – столько страстной неги, что граф невольно к ней приблизился.

– Как вы хороши сегодня! – сказал он ей. – И какое счастье быть возле вас после сухой и суровой политики!

Говоря это, он нагнулся к ней, чтобы ее поцеловать, но она нетерпеливо повернула голову и сказала ему:

– Осторожнее, вы так неловки... я разолью весь графин.

И действительно, в ту минуту, когда Пуаян оперся на спинку ее кресла, чтобы поцеловать ее, она собиралась налить в стакан ложечку водки. Хотя в словах ее не было ничего особенного, а в движении, которым она скрыла от него свое лицо, так что поцелуй коснулся лишь ее шелковистых волос, было только шаловливое кокетство, но Пуаян сейчас же отшатнулся от нее, охваченный тяжелым ощущением, которое испытывают любовники, замечая, что возлюбленная перестает отвечать на порывы их сердца. Да, эта увертка от поцелуя сама по себе ничего не значила; но когда такие сцены грациозного отказа повторяются сотни раз, любовник начинает сильно бояться, что он перестал нравиться, а это тушит огонь его взглядов, сжигает сердце и замораживает на устах слова любви. В таком опасении коренилась причина недоразумения, из-за которого эти два существа должны были с каждым днем все больше и больше отдаляться друг от друга. Бессознательно подчиняясь инстинктивному ослаблению нежности, давно овладевшему ею, Жюльетта часто отказывала в ласке этому человеку, которого сама же потом обвиняла в равнодушии. Она продолжала готовить обещанный напиток, нажимая вилкой ломтик лежавшего на тарелочке лимона, после чего, попробовав грог кончиком губ, сказала с упреком:

– Вот видите, он слишком крепок, из-за вас я его испортила и теперь должна приготовить другой.

– Не трудитесь, – сказал он, делая вид, что хочет подойти.

– На этот раз, – возразила она, – я запрещаю вам двигаться и мешать моей стряпне.

– Слушаюсь, – ответил он и, опершись на мрамор камина, стал опять на нее смотреть.

Она же не замечала этого взгляда, так же как и он не видел ее выражения в ту минуту, когда она смотрела на него в зеркало. Он вполне сознавал, что увертка от его поцелуя была лишь детской шалостью. Но этой шалости было достаточно, чтобы помешать ему сказать в этот вечер одну многозначительную фразу. Из полученных утром писем он узнал, что ему придется ехать в Дубе, где присутствие его оказывалось необходимым для двойных выборов в Совет. Речь шла о том, чтобы отбить эти два места у политических противников в пользу одного человека, который должен был пройти благодаря его красноречию, и он слишком серьезно относился к своей миссии лидера, чтобы не исполнить своего долга. Он приехал к госпоже де Тильер с целью просить у нее свидания, чтобы проститься с ней перед отъездом где-нибудь в другом месте, но это простое отклонение его поцелуя лишило его способности выразить ей свое желание. Такая застенчивость страсти при отношениях, которые уже сами собой должны были бы ее исключать, вызвала бы улыбку на устах героя любовных походов, – например, Казаля, если бы как-нибудь он узнал об этом свидании графа с Жюльеттой. Тем не менее она составляет если не общее явление, то весьма часто встречающееся, что дает основание ее анализи-

ровать. У некоторых мужчин, к числу которых принадлежал де Пуаян, очень чистых в молодости, а позднее жестоко обманутых, является какое-то непреодолимое недоверие к самим себе, которое выражается в стыдливости скорее женственной, чем мужественной по отношению к физическим реальностям любви. Пробуждение страсти сопровождается у них болезненной тоскливостью, благодаря которой внешние обстоятельства обладания становятся для них почти непереносимыми. Такая сверхболезненная застенчивость исчезает лишь в браке и совершенно непонятна для сластолюбца. Лишь брачная жизнь с ее постоянным сожителем и признанной интимностью избавляет этих людей, страдающих излишней щепетильностью, от тоскливых сомнений, возникающих у них каждый раз, когда приходится просить свидания; она избавляет их также от угрызений совести, когда, добившись его, они раскаиваются в том, что довели до падения свою дорогую подругу. После нескольких лет связи Генрих Пуаян дошел до того, что сердце его разрывалось от волнения в ту минуту, когда ему нужно было произнести эту простую фразу: «Когда мы встретимся у нас?»

А между тем это выражение «у нас» означало утонченно-обособленную обстановку, созданную для того, чтобы оградить щепетильность самой взыскательной женщины. Впервые Жюльетта отдалась ему в Нансэ, когда они проводили там две недели в опасном одиночестве, под снисходительной опекой неспособной к подозрению матери. Молодая женщина невольно поддавалась тому непреодолимому порыву экзальтированного сострадания, которое вызывают в благородных сердцах слишком горькие признания. В такие минуты является безумное желание изгладить в душе другого скорбное прошлое. Она отдалась ему в опьянении жалостью, в одну из тех случайных минут, которые у людей, привыкших к приключениям, не имеют никакого будущего.

Как ни кажется странным следующий вывод, но он безусловно верен: чем легкомысленнее женщина, тем больше в ней силы вернуть свою свободу, если такая женщина случайно отдалась. Жюльетта же считала себя связанной на всю жизнь этой первой жертвой. И действительно, это была жертва, и Пуаяну не хотелось, чтобы их связь, на которую он смотрел как на тайный брак, была запятнана какой-либо из тех вульгарностей, которые служат ужасным искуплением преступной любви. Для того, чтобы иметь возможность принимать свою возлюбленную, он выбрал в Париже, на одной из пустынных улиц Пасси, квартиру, в первом этаже, со входом, у которого не было швейцара, во избежание чьих-либо нескромных взглядов. Он обставил ее ценной мебелью, чтобы в день их официального брака, если ему суждено было совершиться, эта мебель могла занять свое место в их семейном очаге, связывая их супружескую жизнь с воспоминаниями, освященными их тайной любовью. Все-таки, ожидая в этом тихом приюте свою возлюбленную, он содрогался при мысли, что какой-нибудь прохожий мог ее увидеть в ту минуту, как она выходила из экипажа, у двери. Приезжая к нему таким образом, она не нарушала никаких клятв; она была свободна, не обманывала доверчивого мужа, не бросала детей, но зато она должна была лгать матери, с которой ее существование было так тесно связано. Граф не мог простить себе, что он был виновником этой, хоть и вполне простительной, лжи. Несмотря на то, что он был так влюблен в эту прелестную головку, в голубых глазах которой пил забвение своего горя, а, может быть, потому, что он любил ее с присущим ему идеализмом, граф страдал от сознания, что по его вине могла зародиться ложь. Это держало его в состоянии болезненной чувствительности, которую лучше всего объяснит нам следующее обстоятельство: в течение года он и Жюльетта встретились в своем убежище не более шести раз. Невозможность со стороны графа вызвать ее на объяснение, так как все слишком легко его оскорбляло, бессознательное охлаждение со стороны молодой женщины, которой искренно казалось, что он ее меньше любит, течение жизни, часто ведущее нас к непоправимым недоразумениям, – все это создавало между ними странные отношения. Но, может быть, тому, кто по профессии или из любви к искусству слышал много исповедей, и тому, кто знает, сколько разнообразных значений скрывается под простыми словами «любовник» и «любовница», отно-

шения эти не покажутся такими странными. Пуаян не думал о том, было ли его положение по отношению к госпоже Тильер унижительным или нет для самолюбия его пола; такое самолюбие составляет главную сущность сердечной жизни почти у всех мужчин. Он страдал потому, что любил ее и чувствовал, что она все более и более от него отдаляется. Этот человек, столь смелый на войне и в парламенте, упрекал себя в том, что в присутствии Жюльетты чувствовал себя парализованным непреодолимым волнением. И как сегодня вечером, эта внутренняя буря подымалась в нем по поводу маленьких неприятностей, казавшихся ему незначительными, и ничто, кроме легкой напряженности его черт, не выдавало этого волнения, которое Жюльетта принимала за следы политических тревог, в чем разубедить ее у него не хватало храбрости. Можно ли выразить сердечные упреки? Поймет ли их та, которая о них не догадывается? Если бы она догадывалась о них, то их не заслуживала бы. А также возможно ли отвечать жалобами, в глубине которых стонет целая агония, такой женщине, которая подходит к вам с ямочками на углах улыбающегося рта, держа в одной руке окаймленную бахромой салфеточку, а в другой горячий стакан, и говорит:

Надеюсь, что на этот раз грог будет вам по вкусу... Бедный друг, у вас совершенно разбитый вид. Я уверена, что это заседание было опять ужасно. Но что заставило вас говорить? Еще вчера вы колебались.

– Благодарю вас! – сказал граф, опорожнив половину стакана. – Что заставило меня говорить?... – продолжал он, ставя стакан на камин.

Вопрос Жюльетты давал ему возможность говорить о другом, а не о занимавших его мыслях и настолько облегчал тяжесть его положения, что он не спешил ответом и начал ходить взад и вперед по комнате, – привычка ораторов, готовящих или излагающих свою речь.

– Что заставило меня говорить? – повторил он. – Оскорбительное обвинение в эгоизме, брошенное моей партией. Нет, я никогда не позволю говорить без протеста во французском собрании, членом которого я буду состоять, что мы, монархисты и христиане, не имеем права заботиться о нуждах народа... Де Сов сделал запрос министерству по поводу этой ужасной северной забастовки и последовавших за нею репрессий. Один из ораторов большинства ответил ему, вы догадываетесь какими фразами, – о старом режиме, – как будто прогресс, которым так гордится наше время, не был бы достигнут быстрее и прочнее одной силой времени без бойни Революции, без резни Империи, без июньских дней и без Коммуны!.. Я же им только сказал, что у нас, опирающихся на церковь и монархию, на эти две исторические силы страны, у нас имеется все, что нужно для решения рабочего вопроса!.. Я показал им, что мы могли бы извлечь все осуществимое из программы самых крайних социалистов, – все извлечь и позднее все направить... Но вы знаете мои взгляды. Я защищал их лишний раз, чувствуя, как под очевидностью моих аргументов, одобренных нашими друзьями, содрогнулись левые... А к чему все это?... Ах, наши современные писатели поставили себе целью описывать все разновидности меланхолии, но никогда не описывали грусти оратора – борца за идею, в которую он верит всей силой своей души; а потом его единомышленники аплодируют ему как артисту, виртуозу, но его слова не обращаются в действие. Вся современная политика как справа, так и слева построена на кулуарных интригах, на соображениях и расчетах ничтожных партий, которые губят Францию. И я еще лишний раз им это повторил, и все напрасно, ах, так напрасно...

Он продолжал ходить взад и вперед, возобновляя тему, чересчур серьезную для одного из тех тошнотворных своей пустой болтовней заседаний парламента, которых со времени франко-прусской войны было бесконечное количество.

Жюльетта знала, что звук его голоса не лжет. Она знала, с какой горячей убежденностью Пуаян защищал идею, над которой будущее должно произнести свой приговор, знала его надежду исполнить то, чего не исполнил наш век, а именно сблизить обе Франции, старую и новую, монархией, опирающейся на традиционное право и вместе с тем устроенной согласно требованиям современной жизни. Прежде Жюльетта страстно интересовалась мечтами этого

государственного человека. Она глубоко чувствовала его искренность и непонятость и хотела видеть его счастливым. Но она была женщина, и потому с того момента, как ее чувства к возлюбленному стали охладевать, она охладела и к его благородным идеям.

Такие люди, которые живут усиленной умственной жизнью, как артисты или ученые, Главари партий или писатели, обладают безошибочным умением измерять убыль чувства в своей возлюбленной или жене, или даже друге.

В тот день, когда ее духовный фанатизм, составляющий его жизненную пищу, потухает, тайно гаснет и ее сердечная преданность, и она начинает протестовать даже во имя прав сердца против того, чтобы этот муж, возлюбленный или друг был поглощен своей профессиональной работой, как это сделала и госпожа Тильер в ту минуту, когда граф замолчал.

– Все это прекрасно, – сказала она, – но теперь вам следовало бы хоть немного подумать о своем друге.

– Думаю ли я о вас? – переспросил он тоном грустного удивления. – А ради кого же я искал известности?.. Возле кого я черпал энергию, помогавшую мне переносить столько горьких разочарований?..

– Ах! – возразила она, качая своей хорошенькой головкой. – Вы умеете отвечать. Но хотите ли я вам докажу, как мало вы обо мне сегодня думали?

– Докажите, – сказал он, удивленно останавливаясь.

– Хорошо! Вы даже меня не спросили, с кем я сегодня провела вечер.

– Но ведь вы сами, – наивно воскликнул он, – писали мне, что обедаете у госпожи Кандаль.

– Да, но она была не одна, – продолжала Жюльетта, одержимая демоном любопытства, заставляющим в иные минуты самых лучших женщин возбуждать ревность мужчины, говоря ему о другом.

– А она не сердится на меня за то, что я запоздал с визитом ей? – спросил граф, не замечая ее кокетливого намека.

– Нисколько, – отвечала Жюльетта и, принимая равнодушный вид, продолжала: – Я обедала там с кем-то, кого вы очень недолюбливаете.

– Но кто же это? – наконец спросил Пуаян.

– Казаль, – ответила она, глядя на графа и стараясь уловить на его лице впечатление, произведенное этим именем бывшего любовника госпожи Корсьё.

– Откуда у госпожи Кандаль такие знакомые? – сказал Пуаян с убежденностью, рассмешившей и вместе с тем рассердившей Жюльетту.

Она улыбнулась, так как услышала ту самую фразу, о которой говорила своей подруге. А рассердилась потому, что это презрение являлось самой жестокой критикой того впечатления, которое производил на нее Казаль.

– Вероятно, это ей муж его навязывает, – настаивал граф. – Кандаль и Казаль составляют вместе достойную пару. Хорошо еще то, что последний своею жизнью букмекера и кутилы не позорит одну из лучших исторических фамилий Франции.

– Но уверяю вас, – прервала его Жюльетта, – я очень приятно с ним говорила.

– О чем? – спросил Пуаян. – Вероятно, он очень изменился, если вы смогли добиться от него какого-нибудь другого разговора, чем об игорном доме или конюшне. Да!

Мне пришлось наслушаться у Корсьё и его разговоров, и речей его четырех товарищей, которых бедная Полина приглашала в надежде его удержать...

– А она его очень любила? – спросила Жюльетта.

– Безумно, – ответил граф с особой горечью, в которой чувствовалось суровое отношение к изменам со стороны человека, которого когда-то обманула жена. – И для меня страсть такого прелестного создания к этому фату оставалась всегда грустной загадкой. Надо было видеть, какую скуку вызывала в нем эта любовь!.. А муж – умен, образован и оригинален. Он обожал и

продолжает обожать Полину. Я перестал бывать у них в доме из-за того, что там приходилось видеть. Я слишком страдал за Корсьё и за нее... Несчастливая! Как она поплатилась! Говорят, что Казаль был с нею ужасно жесток...

– Несмотря на это, он говорил о ней сегодня с большим тактом, – сказала госпожа де Тильер.

– Он даже не должен был произносить ее имя, – ответил граф.

Наступило молчание. Молодая женщина раскаивалась, что упомянула о своем вечернем соседе. Поиграв ревностью де Пуаяна, она испугалась, что возбудила ее. Обладая глубокой и нежной душой, она сейчас же раскаялась, что огорчила того, кого, как ей казалось, любила истинной любовью. На самом же деле в ней оставались лишь привычка к нему и чувство дружбы. Она ошиблась также и относительно чувств Пуаяна, слишком благородного для подозрений, несмотря даже на горький опыт своего брака.

В том, как Жюльетта только что говорила с ним о Казале, он усмотрел лишь, что она могла выезжать в свет и приятно проводить там время без него. Это казалось ему вполне невинным, и он упрекал себя за страдание, которое испытывал; он считал его эгоизмом и несправедливостью. Но – увы! – логика сердца не считается ни с нашим великодушием, ни с нашими софизмами; она ясно говорила ему, что возрастающий интерес Жюльетты к выездам и новым знакомствам служил показателем того, что он один не мог уже составить всего ее счастья.

Часы пробили двенадцать.

– Итак, – сказал он, вздыхая, – мне пора с вами проститься. Когда же я вас опять увижу?

– Когда хотите, – ответила Жюльетта. – Не пообедаете ли вы у нас завтра с моей матерью и кузиной Нансэ?

– Отлично, – сказал он. – Знаете ли вы, что, может быть, завтра или послезавтра мне придется расстаться с вами на четыре или пять недель? – прибавил он взволнованным голосом.

– Нет, – ответила она. – Вы мне об этом не говорили.

– На этих днях должны состояться выборы в Общий Совет, и мое присутствие там необходимо.

– Вечно эта проклятая политика, – сказала Жюльетта, улыбаясь.

Он опять взглянул на нее глазами, в которых она не прочла, – не хотела прочесть, – просьбу, которую губы этого страстного человека не могли произнести.

– Прощайте, – повторил он еще более взволнованным голосом.

– До завтра, – сказала она, – в без четверти семь. Приходите немного раньше.

Когда дверь за ним закрылась, она долго сидела одна, опершись на тот самый камин, в зеркале которого еще так недавно отражался образ Пуаяна. Почему же опять перед ней скользнуло воспоминание о Раймонде Казале, и на какие мысли ответила она себе, когда перед тем, как позвонить горничную, громко сказала: «Неужели я больше не люблю Пуаяна?»

Глава IV

Сердечные переживания прожигателя жизни

В то время как, задав себе этот вопрос, Жюльетта леглась в свою узкую девичью кровать, которую взяла себе, когда овдовела, со всеми остальными вещами, напоминавшими ей о прежней счастливой жизни, – в то время как Пуаян возвращался пешком к своей квартире на улице Мартиньяк, возле церкви святой Клотильды, и упрекал себя, как за преступление, в том, что не умел нравиться своей подруге, – что же делал тот, внезапное появление которого между этими двумя существами являлось, без их ведома, грозной опасностью для остатков счастья одного и нравственной утомленности другого, – этот Раймонд Казаль, о котором мужчины и женщины так различно судили? Подозревал ли он, что его хорошенькая соседка по обеду в этот самый момент вместо того, чтобы спокойно заснуть, продолжала о нем думать, несмотря на принятое решение его забыть? Она не имела на это права, так как любила и хотела продолжать любить другого.

Казаль покинул отель де Кандаль с уверенностью, что понравился госпоже Тильер; он скрылся так поспешно, боясь испортить впечатление. Но, когда, укутавшись в вечернее пальто, он очутился на тротуаре улицы Тильзит и, весело вдохнув в себя свежий воздух, взглянул на небо, усеянное звездами, первым его порывом не были мечты о нежном профиле молодой вдовы. Только позднее он должен был почувствовать, как глубоко уже в тот момент было затронуто его сердце. Размышления его всегда касались только внешности, и он совершенно не знал своей внутренней сущности. Но кто же вполне себя знает? Кто может заранее сказать: завтра я буду весел или грустен, нежен или недоверчив? Казаль, изнуренный постоянным удовлетворением своей чувственности и пресыщенный всеми радостями, заключенными в слове молодость, будучи прекрасно сложенным, имея избранных друзей, двести пятьдесят тысяч ливров дохода, превосходно зная Париж, мог считать себя застрахованным от всяких романических сюрпризов. Он рассмеялся бы своим веселым детским смехом, – смехом, обнаруживающим в нем некоторые хорошие качества: естественность, отсутствие злобы и добродушие, – если бы кто-нибудь сказал ему, что именно это изнурение и пресыщенность делали его зрелым для перелома чувств, глубокого или легкого, но во всяком случае для какого-то перелома. Ему давно уже надоело тяжелое однообразие беспорядочной жизни. Нет ничего более правильного, лишенного каких-либо неожиданностей, строго размеченного определенными развлечениями согласно сезону и часу, как эта непрерывная жизнь «гуляки», – варварская кличка, данная лет десять тому назад современным кутилам. Эта изнанка буржуазного образа жизни, которая превращает удовольствие в почти механическое занятие, в конце концов так же надоедает, как буржуазная жизнь, и по тем же причинам. Часто этот «душевный колтун», как, смеясь, говорил Казаль по поводу одного товарища, внезапно помешавшегося на браке, выражается в тоскливом вздыхании по семейной жизни, которая начинает казаться «гуляке» преисполненной чудных неожиданностей. Она влечет его приманкой новизны, той же приманкой, которая толкает хорошего мужа поужинать в отсутствие жены в отдельном кабинете с глупыми, истрепанными и порочными девчонками, между тем как жена его умна, свежа и чиста. Но «брачным зудом» страдают лишь такие кутилы, которые когда-нибудь испытали глубокую сладость настоящей семейной жизни, или же такие, которые, несмотря на непрерывный праздник своей жизни, – это бывает, – оставались хорошими сыновьями по отношению к своей старой матери или хорошими братьями заботливых сестер. Будучи единственным ребенком давно умерших родителей и поссорившись с двумя своими дядями, Казаль с самых ранних лет привык к безграничной свободе и, по-видимому, должен был навсегда оставаться холостым, как оставался брюнетом, желчным и мускулистым. Трудно было себе представить его наивно обожающим

чистоту молодых девушек, так как у пресыщенных парижан такое обожание появляется одновременно лишь с появлением первых ревматизмов. Зато природная утонченность ощущений, сохранившаяся в нем, несмотря на среду, нетронутой, его любовь к преодолению препятствий и потребность приложить к делу неиспользованные способности делали для него пикантной интригу с такой не похожей на других и непривычной ему женщиной, как госпожа Тильер. Он не знал женщин такого типа, поэтому она являлась для него столь же опасной, как и он для нее. Но следует сделать оговорку: под сдержанностью молодой вдовы скрывалась способность к самой глубокой и смертельной любви, между тем как страсть у Казаль могла быть лишь капризом, игрой в любовь вследствие сильного вожделения. Для крови и мозга восемнадцать лет разгула не проходят бесследно. Но в то время как Казаль шел вдоль Елисейских Полей легкой поступью бретера и полной грудью вдыхал в себя вечерний воздух, у него не было даже и каприза, и если образ Жюльетты и мелькнул в его воображении, то лишь сквозь целый лабиринт других мыслей.

Узнав о таком отношении, молодая женщина больше оценила бы то, что Габриелла называла педантизмом Пуаяна.

– Какой прелестный вечер! – говорил себе Казаль. – Если весна будет так продолжаться, то в нынешнем году будут прекрасные скачки... А обед был недурен... В свете опять начинают хорошо есть. Это все-таки благодаря нам. Если бы человек шесть из нас не говорили бы правду де Кандалью и некоторым другим относительно их метрдотелей и их вин, то чтобы теперь с ними случилось? А вот что следовало бы найти, это – способ хорошо провести два часа от десяти до двенадцати. Только для этого следовало бы основать клуб... Утром мы спим, одеваемся, ездим верхом. После завтрака всегда находятся какие-нибудь мелкие заботы, потом с двух до шести – любовные дела. Когда же их нет, можно поиграть в мяч, заняться фехтованием. От пяти до семи – игра в покер. От восьми до десяти – обед. От двенадцати до утра – игра и кутежи. Правда от десяти до двенадцати можно пойти в театр, но сколько пьес в году стоят того, чтобы их смотреть? А я слишком уже стар или недостаточно стар, чтобы изображать из себя фон лжи.

Мысль о театре привела его к мысли об одной очень плохой, но красивой актрисе водевиля, временным любовником которой он был вот уже шесть месяцев, – о маленькой Анру: «А что, – подумал он, – не навестить ли мне к Кристине?» Он представил себе, как входит в дверь с авеню д'Антен, потом поднимается среди едкого, витающего за кулисами запаха по черной лестнице и, наконец, переступает порог узкой комнаты, где одевалась девица. На столе валялись полотенца, запачканные белилами и румянами; тут же сидят два или три актера, обращающиеся на «ты» к своей товарке. При его появлении господи эти скромно стушуются, оставив ее наедине с ее «серьезным» покровителем, – а он именно считался таковым, несмотря на свою красивую внешность, так как все знали, что он богат, – а она начнет рассказывать ему закулисные сплетни. Он точно слышал, как, продолжая гримироваться, она говорит ему: «Ты знаешь, теперь Люси связалась с толстым Артуром, это отвратительно по отношению к Лоре». – «Ну нет, – заключил он, – я не пойду... На всякий случай загляну в клуб...»

Воображению его представились пустынные в этот час игорные залы, с одетыми в ливреи лакеями, дремлющими на скамьях; лакеи сразу вскочат при его приближении; он словно почувал смешанный, приторный запах табака и железной печки. «Ну, это слишком печально, – сказал себе молодой человек. – Не добраться ли мне до оперы? А зачем? Для того чтобы в пятисотый раз услышать четвертый акт „Роберта Дьявола“? Нет. Нет. Нет. В конце концов я предпочитаю „Филиппа...“» Это было имя английского бара, находившегося на улице Годо де Морой. После одной ссоры, окончившейся дуэлью и происшедшей в другом известном среди кутил последних двадцати лет баре «Эврика», или просто, как его называли, «У старого», Казаль и его компания перестали в нем бывать и с улицы Матурин перекочевали в кабачок улицы Годо.

Если когда-нибудь найдется летописец, знающий современную молодежь, то история ресторанов и кафе конца этого века будет интересной главой в его книге. И среди самых странных из таких мест он должен будет назвать те притоны кутящего общества, куда теперь стали ездить после театра настоящие баре, чтобы пить там бок о бок с жокеями и букмекерами виски и коктейли. Казаль мысленно представил себе узкую залу с длинным буфетным прилавком, высокие табуретки, картины с изображенными на них скачками, потом в глубине портреты четырех знаменитых тренеров.

«Ба, – сказал он себе, – в этот час я там встречу лишь Герберта с салфеткой или без нее».

Лорд Герберт Боун, младший брат одного из самых богатых английских пэров маркиза де Банбюрей, был горьким пьяницей и в тридцать лет иногда дрожал, как старик. Он прославился тем, что нашел удивительные по простоте слова, ярко рисовавшие его ужасную страсть. Когда его спрашивали: «Как поживаете?», он отвечал: «Отлично, у меня превосходная жажда». Он простодушно думал, что фраза эта вполне соответствует выражению: «У меня хороший аппетит». Его любимая шутка, которая была шуткой только наполовину, состояла в том, что на товарищеских обедах он пытался поднести к губам стакан с вином, не расплескав его, жесты же его были так не уверенны, что для этого ему приходилось надевать на шею салфетку. За один конец ее он брался левой рукой, а за другой правой, в которой держал стакан. Таким образом левая рука тянула салфетку до тех пор, пока вино не попадало в рот этому пьянице.

«Но, – подумал Казаль, – теперь уже поздно. Он меня не узнает. Положительно, в моем теперешнем положении мне следовало бы иметь на эти часы „буржуазку“».

В его интимном товарищеском кружке этим термином обозначали любовницу из светского общества, – «вдову или разведенную, ведущую замкнутый образ жизни, которая радовалась бы моим посещениям».

Произнося этот странный монолог, он дошел до перекрестка, где сходилась несколько улиц. Только тут он опять вспомнил о своей соседке и сказал себе вполголоса: «А право, эта маленькая госпожа Тильер мне подошла бы. С кем она может быть?»

Конечно, такое заключение было весьма бесцеремонно и заключало собой целый ряд мыслей, которые даже не такому наивному человеку, как Пуаян, могли показаться циничными и проникнутыми грубым материализмом. Но все-таки в глубине их шевелился маленький зародыш чувства, а это доказывает нам, что каждое сердце представляет собой целый отдельный маленький мир, где самые нероманические образы порождают романические чувства.

Если бы нежное обаяние Жюльетты, – как незаметный, но сильно действующий аромат скрытого в комнате цветка, – не повлияло на Казалья, он не испытал бы такого отвращения при воспоминании о вульгарности Кристины Анру. Он отказался от театра, клуба и «Филиппа» под вполне основательными предложениями, но в этот вечер, как и во всякий другой, они не имели бы для него никакого значения, если бы в нем не работала тайная потребность одиночества. А для чего? Если не для того, чтобы отдаться мыслям о молодой женщине, воспоминание о которой внезапно захватило его, затмив в его воображении кулисы, клуб и кабачок. Тонкий силуэт обрисовался с удивительной отчетливостью на поле его внутреннего зрения. Люди спорта, живущие интенсивной физической жизнью, развивают в себе восприимчивость дикарей. Они обладают удивительной животной памятью, присущей земледельцам, охотникам, рыбакам, – одним словом, всем тем, которые много смотрят на вещи, а не только на их изображение. Формы и краски беспрестанно отпечатываются в их мозгу от реальных непосредственных конкретных впечатлений с такой рельефностью, о которой кабинетные работники и салонные собеседники даже не имеют понятия. Казаль ясно увидел грациозно-страстный и полный бюст Жюльетты, ее гибкие плечи, черный корсаж с розовыми бантами, ее полный страстной неги затылок, светло-белокурые волосы, темный сапфир глаз, извилистые губы, блеск зубов и ямочку при улыбке, руки, по которым пробегала золотистая тень, крепкие кисти рук, столовую со всей ее обстановкой, ковром герцога Альбы и побледневшие или покрасневшиеся

лица гостей. Будь тут сама живая Жюльетта, он не мог бы разглядеть ее черт яснее и точнее. В результате этого видения полуиронические рассуждения о вечерних часах сейчас же уступили место хотя грубому, но по крайней мере искреннему и естественному порыву: чувственному желанию обладать этим прелестным созданием, под чистой и сдержанной внешностью которого он инстинктивно угадывал большую страстность.

«Да, – продолжал он, – с кем она? Не может быть, чтобы у нее не было любовника».

Духовная память пришла на помощь и в дополнение памяти физической.

«Все равно. Она посмотрела на меня очень странными глазами, после того как сначала имела вид, что не замечает меня... Этот самый обед был заранее подстроен вместе с госпожой де Кандаль. Они – близкие друзья. Очевидно, моя маленькая соседка хотела со мной познакомиться. Я совсем недурно действовал. Уверен в этом. Что же теперь значит это любопытство? Не слышала ли она обо мне от другой женщины? От своего любовника?.. Или, наконец, у нее совсем, может быть, нет любовника, и она скучает там в своем углу? Ее так мало видно. Вероятно, она живет очень замкнуто... Она очень хороша. А что, если бы я принял за ней ухаживать? На всю эту весну передо мной нет ничего интересного. Да, это мысль... Но где же с нею опять встретиться?.. Я обедал рядом с нею, а потому могу сделать ей визит вместо того, чтобы просто забросить карточку...»

Эта мысль ему так понравилась, что он громко рассмеялся.

«Это так, – продолжал он, – но тогда надо отправиться к ней завтра же... Завтра? А что я завтра делаю? Утром еду в Булонский парк с Кандаем. Это хорошо. Он даст мне все нужные сведения. Завтракаю у Кристины. Но этот завтрак можно пропустить. Я слишком много завтракаю в этом году. После весь день бывает испорчен. Я отложу визит к Кристине и в два часа зайду к маленькой вдовушке. В четыре часа у меня фехтование с Верекиевым. Как трудно справиться с этими левшами!.. А что, если бы я просто вернулся домой и лег? Теперь половина одиннадцатого. Еще очень рано, но вот уже восемь дней, что я засыпаю в четыре часа утра. Сделаем передышку, чтобы собраться с силами».

Приняв это благоразумное решение, он обогнул улицу Буасси-д'Анлар, не останавливаясь ни у Императорского, ни у Малого клуба, и прямо направился к улице Лиссабон, где жил в унаследованном от отца отеле и настолько благоустроенном, что он производил впечатление семейного очага.

В основе необычайного здоровья привыкших к излишеству людей лежит скрытая гигиена. Те, которые пренебрегают ее требованиями, быстро исчезают, а те, которые выживают и удивляют следующие поколения своей неутомимой энергией на охоте, в игре, в фехтовальном зале, в других местах, сохранили, как Казаль, возможность следить за собой, несмотря на неправильный образ жизни. Гигиена этих людей состоит в следующем: иногда они накладывают на себя по утрам монастырское воздержание, и этот пост служит предохранительной мерой после слишком сытного обеда; иногда, чувствуя переутомление, они дают себе разумный отдых, ложась спать в определенный час; иногда они восстанавливают свои силы целым рядом умело распределенных спортивных упражнений, а также ежедневным массажем, что составляет целое домашнее лечение гидропатией. «Свет принадлежит рассудочным людям», – говорил Макиавелли, – им принадлежит и полусвет, хотя такой афоризм и кажется очень парадоксальным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.